

ЗНАКОМСТВО С ОСТРОВНЫМИ ПИСАТЕЛЯМИ

По поводу вступления в Чехословакию наших войск Юрик Леонтьев сказал: «По совести — нам с тобой надо было бы отказаться служить в рядах армии-агрессора». И тут же сам себе резонно возразил: «Но отказ служить мог бы, наоборот, удлинить наше пребывание в ней...» Имея в виду, видимо, дисциплинарный батальон...

На политзанятиях нам объясняли: «Армии НАТО из ФРГ почти бросились захватывать Чехословакию, но мы их опередили. Спасенные граждане этой маленькой страны благодарны солдатам-освободителям. Хотя некоторые несознательные жители выражали недовольство из-за потоптанных нашими танками посевов и кидали в них камни».

Иногда мы с Леонтьевым засылали свои стихи, аккуратно переписанные на белые листы, в газеты или журналы. Юрик переписывал свое художественным почерком, с завитушками и крючочками. Стихи его мне нравились, а некоторую их книжность я отмечал как достоинство, но не наоборот.

Пастух (диалог)

— Скажи, пастух, а если бы не кнут
и не собака, то какой свирелью
берешься ты согнать овец в одну
отару послушанья и смиренья?

— Я расскажу, что вижу я один,
как в небеса распахнутое настезь
окно еще не кошенных долин
зовет овец покоем жирных пастбищ.

— А если ложь? А если мишура?
Ведь можешь, как другие, ошибиться?
И, наплевав, что улетел журавль,
останется практичная синица.

— Ну что ж, ступай, заблудшая овца,
назад свободу праздновать. Но только
уж будь тогда логичной до конца —
и в пасти поджидающего волка.

— Нет двух похожих капель на земле,
и мы, смотри, ни капли непохожи:
тот груб, тот зол, тот горд, тот слаб, тот смел —
а вдруг ты нас объединить не сможешь?

— Гори, и ржа, и золото! Гори
в павлиньей стати солнечного спектра —
на сплав метелью брызнут февраль
и фениксы поднимутся из пепла.

— Положим, верим мы в твою звезду.
Но сколько нас дойдет до пастбищ этих?
...Мечтательно задумался пастух,
полслова нам на это не ответил.

Перечитав сегодня его стихи, вижу, что они вполне современные, хотя и написаны сорок лет назад. А это первый признак их «настоящности».

*Вы знаете, о чем мечтают роботы
и почему им по ночам не спится?
Железины, вчера такие робкие,
сегодня примеряют наши лица...*

Где-то нас публиковали, где-то обнадеживали.

Напечатали по два наших стихотворения в областной молодежной газете «Молодая гвардия». Эта публикация имела далеко идущие последствия. Нас пригласили на областной семинар молодых писателей, который проходил сразу после создания Сахалинской писательской организации. Но вызвали почему-то меня одного. Я был командирован официально, а Юрий поехал в самоволку.

Поселили меня в гостинице «Дальневосточник» в центре города. Семинар проходил в Доме политического просвещения напротив обкома КПСС. В нынешнем ЦНТИ. В Южно-Сахалинске я был впервые, если не считать пересадку и проезд ночным поездом через город.

Явились мы в газету «Молодая гвардия», где познакомились с внештатным консультантом газеты — молодым поэтом с широким джеклендоновским подборождением — Михаилом Финновым. Именно он рекомендовал наши стихи в газету и содействовал приглашению на семинар.

Мы с удовольствием разглядывали штатскую газетную жизнь, а журналисты разглядывали нас. Чуть позже появился круглый крепыш с рыжеватой бородкой, усами и лысиной, просто Саваоф — сорокалетний поэт и директор Долинского лесхоза Евгений Лебков. Там же познакомились мы с недавним иркутянином, поэтом и журналистом Владимиром Губиным, с ответственным секретарем газеты Тимофеем Кузнецовым, с Валерией Каменецкой и с Натальей Корсунской — журналистами «молодежки».

Семинар собрал цвет тогдашней молодой островной литературы. В президиуме обитали: недавно избранный руководитель писательской организации, моложа-

вый, но с ранней синевой сединой поэт Иван Белоусов, прозаик, автор хорошо мне известного романа «Пойси счастья» Николай Максимов, очень юный на вид Владимир Санги, знакомый уже Евгений Лебков, корейский поэт Ким Цын Сон и разные официальные лица.

Одно из самых сильных впечатлений, вынесенных с семинара, — покаяние старого поэта, автора нескольких стихотворных книжек Леонида Токарева. Мне стало не по себе, когда человек почтенного возраста опустился на колени перед писательским сборищем. По лицу его текли слезы, слышно было, как он приговаривал: «Простите, братцы...» В затянувшейся тягостной тишине раздался голос Санги: «Давайте простим нашего товарища, уважим его седины. Он уже получил суровый урок...»

Как разъяснил мне Миша Финнов, поэт «бес попутал». Отдыхая на юге, он познакомился с молодым автором Алексеем Заурихом и взял у него стихи под предлогом «помочь с опубликованием». Но, поскольку у самого на выходе была книжка стихотворений, восполнил недостающий объем чужими стихами.

Кому-то из знакомцев молодого поэта книга попала на глаза, разразился скандал. Леонида Токарева отлучили от всех редакций и издательства.

— Чего уж там, сделаем вид, что простили старика. Хотя такие вещи не прощаются...

Через пару лет, увидев Токарева на каком-то писательском выступлении веселым, улыбчивым, очень удивился. По простоте своей думал, что после того несмываемого позора он должен ходить «тише воды, ниже травы».

Юрик уехал на службу, а я еще два дня на законных основаниях колобродил с писательской братией. Миша Финнов, с которым я уже был на «ты», таскал меня за собой по разным славным компаниям. Я был приодет в его гражданские штаны с заплатой на заднице и в белую рубаху. У кого-то нашел он и подходящие туфли.

В гостиничном номере Юрия Николаева, поэта из Холмска, пили водку из граненых стаканов. Прозаик, редактор книжного издательства Анатолий Кириченко с сочувствием посмотрел на меня: «Тоже будешь?» Я кивнул. Николаев разливал по полстакана. Тут уж глупость явила миру удаль, и я демонстративно опрокинул стакан в рот, нацелясь поймать спиртное одним глотком. Но промахнулся, поперхнулся, захлебнулся... Водка пошла через нос. Те еще ощущения!

Компания с омерзением смотрела на мои муки. Только Миша пытался выправить ситуацию, хлопая меня по спине. А я, кое-как отдышавшись, закусил соленым огурцом и притих, слушая бывалых людей, моих собутыльников.

При следующем разливе по стаканам все повернулись ко мне и кто-то спросил: «Может, не надо больше пацану наливать?..» Но Миша за меня заступился: «Все в порядке. С кем не бывает...»

Вечером гуляли по городу, сидели во дворе нового микрорайона «Черемушки» за деревянным столом, врытым в землю — тогда еще были такие, — пили вино, выклянчив у жильцов стакан. Все читали стихи — Финнов, Николаев, Губин, заезжий поэт Сергей Лузан и я... Своей изысканной необычностью сразу запомнились стихи Володи Губина:

*Звезды — это пробойны
От пуль, улетевших в небо
С поля извечной бойни
За землю вина и хлеба.
Вот почему радостно,
Что небо сияет звездами.*

*Каждая — это пуля,
Промахнувшаяся в человека.*

Миша еще и записывал чтение стихов на небольшой магнитофон. Жаль, что прямо с голосами поэтов в скором времени украли. И сегодня нет уже почти никого. И даже Мишиного голоса не осталось...

ДЕМБЕЛЬ

Жизнь продолжалась, и как-то зашел к нам в гости майор-строитель. Познакомились. Сказал, что очень уважает литературу, в частности поэзию, и есть у него в Южно-Сахалинске знакомый поэт Александр Мандрик. И он хочет отвезти меня к нему, чтобы тот посмотрел мои стихи — может, окажет какое-нибудь содействие. У меня уже была приличная по объему рукопись.

Майор строил в поселке новую гауптвахту. Выписал мне командировку на день по строительным делам, и мы поехали.

Мандрик жил в крохотной квартирке недалеко от остановки «Южный гастроном». Видно было, что с майором они действительно приятели. Хозяин засел читать мои стихи, а мы пили чай. Забегала девчужка в пионерском галстуке — дочка Мандрика Татьяна. Александр Климентьевич производил впечатление человека несильного, говорил тихим голосом: «Мне тебя учить нечему... Все, что надо поэту, у тебя есть...» В итоге подарил свою книжку «Рассвет над Сахалином» с надписью: «Коле Тарасову, самобытному поэту с пожеланием творческих успехов, 7 октября 1968 г.», и мы распрощались.

«Ну съездили, чайку попили, развеялись, — тоже неплохо», — думал я, трясясь на рейсовом автобусе по дороге в Сокол.

После сентябрьского приказа министра обороны мой призывной год начал потихоньку убывать на родину. Мы попали как раз на перемену с трех лет службы на два, поэтому служить нам выпало два года с половиной. Нормальные ребята готовились на дембель: добывали «чешуху» — чистой шерсти гимнастерки и штаны. Особым шиком были пилотки «чш» — чистая шерсть — из темно-зеленого благородного материала. Выменивали и собирали себе на грудь знаки классности и просто значки, готовили дембельские фотоальбомы. Однако меня почему-то все это не увлекало.

Мой черед настал только в ноябре. Это значит — зимняя форма одежды. В кассе полка небольшой нашей группе отъезжающих выдали немного денег на дорожный прокорм. На крытой машине поехали прямо в аэропорт. Там сопровождающий раздал билеты — и прощай, остров!

Перелетели до Хабаровска на Ил-18, а там — кто куда, по своим направлениям. Я с двумя земляками — на рейс Ту-104 Хабаровск — Ташкент с посадками в Иркутске, Новосибирске, Алма-Ате.

В хабаровском аэропорту мелькнул элегантный лейтенант — Толя Рыжов. После военного училища он летел служить на Сахалин. Очень улыбочивый и жизнерадостный. Подумалось: «Жене с ним весело будет». Единственное, что смущало, — казалось, что он все время заглядывает тебе за спину. «Ну, будь здоров, ефрейтор». И разлетелись.

В Иркутске застряли на двое суток. Было холодно. Слонялись по аэропорту, спали где придется. Иногда везло устроиться на каменном подоконнике. Очень выручала солдатская шинель. В киосках с большим интересом разглядывал сувенирные наборы самоцветов и даже купил самую маленькую коробочку.

Новосибирский аэропорт Толмачево и Алма-Ату проскочили без особых задержек. Самолет был тот еще. Заходы на посадку просто изнурили своей бесконечностью. Они стали серьезным испытанием для моей глупости. Ведь я до того всего один раз летал. А здесь сразу столько взлетов и посадок. Особенно муторной была посадка в Ташкенте. Ту-104 вовсю болтало в ноябрьской непогоде — то разворачивало чуть ли не боком, то подкидывало вверх или бросало вниз.

— Похоже, на одной турбине идем, — как можно спокойнее сообщил я соседке, озабоченно глядя в иллюминатор на почти машущие крылья лайнера.

Она сурово посмотрела на меня и отодвинулась. Со временем я понял почему... Ведь таких несдержанных болтунов и паникеров в боевых условиях запросто ставят к стенке.

ВОЗВРАЩЕНИЕ. ГРЕЧЕСКАЯ БРИГАДА

По дороге из аэропорта, на автобусной пересадке у Сквера, встретил первое знакомое лицо — девушку из обсерватории и понял, что я почти дома.

Уже темнело, когда на мой звонок в дверь откликнулась мама:

— Кто там?

— Это я, мама. Открывай скорее...

— Кто я?

— Как кто? Твой сын Коля, отслужил в армии и приехал...

За дверью наступило молчание, и я испугался, что сейчас услышу: «Нет у нас никакого сына Коли...» Но мама ответила:

— Не верю. У вас голос не Колин. Уходите.

«Елки-палки...» Я мгновенно взмок и завопил:

— Да позови папу, что ли...

— Папа отдыхает в санатории. Подтвердите, что вы мой сын Коля...

— Мамочка, тебя зовут Александра Ивановна, а папу — Антонин Николаевич...

— Ну и что, это многие знают...

— Да у нас же цепочка на двери, приоткрой и посмотри...

Дверь приоткрылась, и наконец прозвучало:

— Вот теперь узнала,ходи, родной. С приездом! Вокруг столько разбоя. Только и слышишь — напали, ограбили, убили...

Одобрив мамину осторожность и поставив в коридоре чемоданчик, только я вознамерился снять шинель, как услышал:

— А ты в курсе, что живешь теперь не здесь, а в греческом городке? Твоей семье греки дали квартиру. Так что давай напрямиком туда.

Чемоданчик я оставил, а сам рванул в сторону Дагестанской улицы. Нового адреса не знал, поэтому зашел к тестю и теще. Оттуда сводная сестрица моей жены Людмила повела меня к новому месту жительства в соседнем доме.

Не думаю, что мама действительно не узнала меня. Наверное, это была акция устрашения самой себя и воспитательный пример для меня: дескать, нужно быть очень осторожным.

Квартира на втором этаже оказалась на двоих хозяев. Наша соседка Лена-молдаванка жила одна с трехлетним ребенком. Мальчика звали Спирос. Ее муж и отец малыша грек Костас сидел в лагере для иностранцев и уголовников без гражданства где-то под Иркутском.

Моей дочери было уже около двух лет. У соседки две комнаты, у нас одна. Но нам хватало. Кухня и туалет были общими.

Под нами жил бригадир ремонтно-строительной бригады Савос Гаврилидис вместе с огненно-рыжей «русскоязычной» женой Нелей и ее дочкой. В палисадничке у них благоухали розовые кусты, били фонтанчики, орошая цветочные грядки и бетонные дорожки.

Вечерами бригадир блаженствовал на скамеечке в садике — широкий, грузный, почти лысый, хромоватый после ранения на своей войне. Среди сотоварищей он считался выдающимся мастером и организатором. В бригаде было человек двадцать.

— Коля, я тебя возьму в бригаду. Ты ведь теперь наш, у тебя семья греческая... Но у нас в бригаде такой порядок: я буду выписывать тебе по нарядам побольше, а ты будешь пятьдесят рублей отдавать мне. Все так делают. Это чтобы разных людей благодарить за то, что они помогают нам выгодно наряды закрывать...

Первым объектом, на который я попал, стал авиационный техникум в центре города. Бригада Савоса ремонтировала крышу здания после пожара. Работал я в солдатской робе и в армейских сапогах — подтаскивал доски для обрешетки, стропила, а греки-плотники ловко их устанавливали, сбивали и приколачивали. Сразу же в дело шел шифер, который перемещать тоже вменялось мне, а также молодым ребятам Лене Павлидису и Трайкосу Нолевскому. Леня — грек, Трайкос — македонец. С греческой гражданской войны пришло много и македонцев-славян из Северной Греции со своим языком. Были также и греческие армяне.

— Я так смеял, я так смеял, — рассказывал веселую историю в минуту перекура армянин-подсобник.

В бригаде было еще двое русских: подсобник Володя, которому — все об этом знали — выпивать нельзя, он мог запить с трех граммов водки, и штукатур-универсал Борис, попавший к Савосу по чьей-то протекции тоже после армии пару лет назад.

Савос жалел Володю. К тому же такой безропотный подсобник, готовый на любую, самую черную и пыльную работу — цемент или известь разгружать, — ему в бригаде был необходим.

А мастера: плотники, штукатуры, каменщики, маляры — каждый умелец на все руки, — свое дело знали, работали красиво, халтуру презирали. Большинству из них — чуть за сорок. Это подтверждало тот факт, что молодые парни были попросту мобилизованы коммунистами из своих сел по достижении призывного возраста.

Юра Алексиадис, один из них, жил от нас через дом. Маленького роста, с низким скрипучим голосом и добрым лицом — чуть-чуть Фернандель. Иногда он запевал или делал вид, что запекает песню, — словно саксаул скрипел в пустыне.

— У нас в Греции апельсины — во! — показывал он руками размер примерно с детскую голову. У него была русская жена Лида, большая и широкая в кости, явно великоватая для него. Он доставал ей всего лишь до подбородка и, кажется, был доволен такой великорослостью жены.

Другой мастер-универсал Юра Панайотис по прозвищу Чифтис, что означало — щеголь, красавчик, был членом КПСС, а не греческой компартии. Стало быть, и советское гражданство у него имелось. В то время как подавляющее большинство греков оставались «БГ» и мечтали вернуться на родину, Чифтис говорил: «Мне и таким, как я, дорога домой закрыта. Все мы там, у кого руки в крови по локоть, в черных списках значимся...» Я его Чифтисом никогда не называл, а только по имени — Георгием. Все Юры у греков на самом деле — Георгии.

— Зачем на гречанке женился?! — упрекал он меня. — В туалет пойдешь, она кричать будет вслед: «Куда пошел?!»

— Ну, до этого дело не дошло, — смутился я.

— Как же так? — спрашивал я его. — Руки по локоть в крови... Вы ведь один народ...

— Жили мы в селе. Нас три брата было. Младший в полиции служил в городе. Дома только днем появлялся. Я — в горах, в лесу партизанил. Домой навещался ночью. Старший брат Яннис — нейтрал — дома жил. Один раз сильно наkostenял мне, когда увидел, что я порог миную для младшего...

— На брата — мину? — поражался я. — А если бы в бою увидел его, неужели стрелял бы?..

— Не «если бы», а стрелял! Промахнулся, бл... — скрипнул он зубами.

«Ну и ну! — подумал я. — Вот тебе еще один Шолохов с “Донскими рассказами”...»

В другой раз он рассказывал:

— Приказали мне как-то шпионку в штаб отвести. Идти далеко, по козьим тропам. Девчонка молодая, красивая. Стала просить дорогой: «Отпусти...» Ладно, говорю, дашь — отпущу. Завалились с ней на полянке...

— Отпустил?

— Ну да! В пропасть столкнул! В штабе сказал: «Сорвалась...»

— И что ты за человек после этого? — подал голос Ленчик Павлидис.

— Так шпионка же, фашистка! — опять сверкнул глазами и скрипнул зубом Чифтис.

«Вот тебе и «красавчик», — подумал я. — Шолохов отдыхает...»

На самом деле от «красавчика» ничего уже не осталось. Это был сухощавый узколобик с огромными глазами, в спецовке и в берете.

Во всем остальном, где речь не шла о политике, у него был, как ни странно, легкий и компанейский характер. Он считался заместителем Савоса, и все шло мирно до поры. Леня — мальчишка — шутил с ним на равных, в греческом стиле, а он был самолюбив. И однажды вдруг вспыхнула перепалка на греческом языке, после которой Чифтис заявил бригадиру: «Или я, или он — выбирай!»

Савос стыдил Леню, просил извиниться, но тот уперся, тоже считал себя обиженным.

— Да что ж такого ужасного мог сказать вам Леня? — недоумевал я.

— Ты не понимаешь. У нас есть такие ругательства, каких даже у вас нет, и младший старшему не должен их говорить...

— Ну уж, неужели русский мат уступает греческому?

— Конечно, — чуть ли не хором откликнулись греки.

— Да он дурак просто, — сказал потом Леня. — Начал меня пилить, учить за всю молодежь, молокососом обозвал. Ну я ему и сказал: «Насу хесу тум патера!»

— Что это значит?

— Ср...л я на голову твоего покойного отца... Чего он так взвился, не понимаю. От него самого и не такое услышишь...

Кончилось тем, что Савос их просто развел по разным участкам и следил, чтобы они на одном трудовом объекте больше не встречались. Объекты — это магазинчики, столовые, конторы и тому подобное, нуждавшееся в нашем ремонте.

Был в бригаде один «вредный» грек с плохим характером. Никто с ним работать вместе не хотел.

«Злой, как турок. Наверное, турок и есть...» — говорили о нем. Тот работал один, но иногда ему нужен был подмастерье, и как-то Савос послал меня на подспорье. Седой, коренастый, с горящим злобным взглядом Василидис рассказывал между делом: «У одной хозяйки работал. Дурная, говорю ей, у вас страна. А она мне: «Не надо было воевать против нас. Вот бы сейчас и не сидел в плену...» Так я ее чуть не убил за такие слова. Бросил топор, да промахнулся...»

Был в бригаде еще один Трайкос, маляр, тоже македонец, но лет шестидесяти пяти, с щегольскими усиками, участник войны аж с итальянцами 1940–1941 годов. В отличие от молодого Трайкоса, он обедал принесенным из дома «тормозком». Однажды, развернув как обычно белую тряпицу, достал брынзу, салат, зеленый лук, чрезвычайно острое лечо и литровую банку простокваши.

Из любопытства лизнув лечо, я еле прокашлялся и отдышался.

— Как это возможно есть?! — поразился я. — Ведь такое несовместимо с жизнью...

Но старый маляр спокойно жевал свои яства, макая то одно, то другое в свой ужасный соус и запивая все это простоквашей. Не успел я восхититься простотой обеда, смахивающего на древнегреческую трапезу, как он схватился за живот и повалился на бок. Вызвали «скорую», которая увезла его в больницу. Вышел он оттуда через неделю и скоро вообще ушел из бригады.

— Нет, все-таки слишком острое было у него лечо, — говорил молодой Трайкос, — даже для нас, привычных к перцу, слишком острое...

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ

Летом 1969 года я созрел для поступления в институт. Особо не горел, у меня была уже своя, достаточно насыщенная жизнь. Но и понимание того, что надо учиться «филологическим» премудростям, в подсознании укрепилось. Да и папа дружелюбно, но настойчиво повторял: «Надо получить специальность, а стихи от тебя не уйдут...»

Поступил я на заочное отделение в Республиканский педагогический институт русского языка и литературы. Экзамены сдал легко. Ректором института был известный филолог-лингвист, создатель новой узбекской письменности, заменивший арабскую вязь кириллицей, — академик Решетов. Ездить в институт в период сессий было далековато. В Старом городе я садился на маршрутный автобус и катил куда-то за студенческий городок, на самую окраину. Слава богу, что это было не стационарное обучение.

— Коля, у меня к тебе личная просьба, — сообщил как-то бригадир нашей строительной бригады Савос.

Это прозвучало очень душевно. Может быть, потому еще, что сидели мы у него дома, ели и выпивали из хрусталей, которые подавала на стол его жена.

— Нужно одному хорошему человеку на киоске сказку нарисовать...

— Вообще-то я не специалист по сказкам, — попытался отлынить я.

— Ничего. Ты, говоря, стихи пишешь. Что-нибудь придумаешь. А он с тобой напрямую рассчитается...

Приближался Новый год, и браться за дело, точнее, за кисть, нужно было незамедлительно. Моим «холстом» стал обычный торговый киоск синего цвета. Взглянув на него, я сразу понял, что здесь будет Щука в кадке и Емеля на печи. Художничал два дня и получил от хозяина приличный гонорар — двадцать пять рублей. Чувствовалось, что ему понравилась моя «картина». Но этим дело не закончилось. Позвали меня рисовать еще на двух киосках.

Там я исполнил сюжеты из «Руслана и Людмилы»: тридцать три богатыря с дядькой Черномором и Кашей Бессмертный сам по себе. Управился до Нового года и не мог удержаться — несколько раз выбирал маршруты мимо «своих» киосков, чтобы полюбоваться на дело собственных рук.

А между тем из Куйбышевского райкома КПСС напомнили о том, что кандидатский мой срок затянулся чуть ли не вдвое положенного. Поскольку по возрасту я должен был представить и комсомольскую рекомендацию, поехал в горком комсомола. Там никаких сведений обо мне не сыскалось. Попутно выяснилось, что я давным-давно автоматически выбыл из комсомола ввиду неуплаты членских взносов.

— Ай-яй-яй, — пристыдил меня моложавый узбек, секретарь горкома, к которому я направился с заявлением о восстановлении в славных рядах. — Плати давай взносы за три года. Восстановишься — и в партию...

Так я и сделал. Уплатить пришлось что-то около трех рублей. По две да по четыре копейки за месяц. Подготовительная фаза — изучение международного положения, имен председателей братских компартий и тому подобного — заняла немного времени. В начале 1970 года я был принят в партию, ответив на все заданные парткомиссией вопросы.

Выйдя из райкома на Пушкинской площади, я присел на лавочку в сквере и записал стишок:

*Райкомы мне напоминают храмы
Торжественной своею тишиной.
Сквозь узкие готические рамы
Не затечет ни холод и ни зной.*

*Служители величественно строги.
И кабинеты будто алтари.
И в них недосыгаемы, как боги,
Печальные сидят секретари...*

Почему печальные — ответить бы не смог. Так мне увиделось или показалось... Дорога на Алайский рынок иногда пролегалa мимо Ташкентской консерватории, что стояла на углу улиц Пушкинской и Жуковского. Из раскрытых окон лились загадочные голосовые рулады — в основном женская колоратура. Но иногда вполетались мужские теноры и баритоны. А как-то неведомый бас распевался «Вечерним звоном», и я заслушался. Было радостно ощущать, что находишься рядом с чем-то необыкновенным, может даже со сказкой...

Но однажды «сказка» сгорела. Тошно стало проходить мимо черных, выгоревших окон, и я сменил маршрут: пробирался на рынок мелкими улочками от Асакинской или от Сквера.

Папа вышел на пенсию. Военный трибунал — прежняя его служба — примыкал к территории старой крепости. В школьные годы, когда мы жили временно неподалеку, на улице Розы Люксембург, я заглядывал туда к папе, чтоб стрельнуть рубль на шашлыки или беляши, которые на Туркменском базаре были обалденной вкусноты и стоили сначала восемнадцать, а потом двадцать две копейки.

Шашлыки предлагались кусковые, с курдючным жиром, и молотые, похожие на котлеты, проткнутые шампурами. Среди ребятни считалось унижительным брать шашлычки с молотым мясом. Но мне они очень нравились, и когда я был один, то не отказывал себе в удовольствии.

Во дворе трибунала призывно зеленел «хаус» — бассейн с водой. Длинный и узкий, он смахивал на бетонированную яму для ремонта автомобилей. Но в жаркий день окунуться в него школьнику было просто наслаждением.

Теперь папа работал консультантом в президиуме Ташкентской коллегии адвокатов. То есть консультировал адвокатов. И друг его, Марк Владимирович Ко-

робейник, бывший военный прокурор, тоже работал в какой-то штатской конторе и разъезжал на новеньком «Запорожце».

Папина коллегия размещалась в Ташкенте в старинном особняке в глубинах улицы Жуковского. Потолки там были пятиметровой высоты и украшены алебастровой лепниной, а на входе висела мемориальная доска, извещавшая прохожих о том, что в этом доме в годы войны проживал писатель Алексей Николаевич Толстой.

Теперь здесь в одной из комнат за высокими резными дверями мирно под-ремывал папа.

ТРАЙКОС И ЛЕНЯ

Самыми близкими товарищами в бригаде у меня были македонец Трайкос Полевский — прямой, как метр, и внешне, и в суждениях, и юный грек Ленчик Павлидис. Они жили в домах по соседству, и двор у нас был общий. Трайкос все время совершенствовался в мастерстве штукатура-маляра и, несмотря на молодость, подбирался к вершинам этого ремесла.

Они оба были моложе меня, в армию служить не ходили, поскольку значились «лицами без гражданства». Забегая наперед, скажу, что Трайкос в итоге уехал из «самой справедливой страны», но не в Грецию, откуда в 1949 году эмигрировали его родители, а в Югославию. Потому что Греция не принимала македонцев-славян, даже тех, чьи предки когда-то жили в ней. Известно, что и страну под названием Македония Греция не признает, поскольку так называется ее северная область.

После падения хунты черных полковников греки стали возвращаться на родину. В семидесятые-восьмидесятые годы я с каждым приездом в Ташкент на побывку недосчитывался своих знакомых. Городки заселялись коренными жителями с окраин города, и привычную зычность греческой речи вытеснял тюркский агглютинативный переклик.

Последние посиделки у Трайкоса были в середине восьмидесятых. Мы сидели в его маленькой квартирке, а жена, украинка родом из Харькова, гуляла во дворе городка с маленькой дочкой.

— Я не понимаю, Коля, почему справедливости совсем не стало? — недоумевал все такой же прямой, как и в прежние годы, приятель. — Мы работали в одном совхозе, недалеко от Ташкента. Все, что должны были выполнить по договору, сделали. Идем к директору за расчетом. Он открытым текстом говорит: «Две тысячи давайте, получите расчет». Мы: «Как так, почему?» Он: «А по кочану. Я так хочу». Поехали к прокурору района. Рассказали все. Так, мол, и так: не хотим давать взятку за расчет. «Правы ли мы?» — спрашиваем. — «Конечно, правы, — он отвечает. — Идите к нему, получайте свои законные. Я ему позвоню...»

Мы снова к директору. Пришли, говорим, за своими, честным трудом заработанными... Закон на нашей стороне!

«Нет проблем, — он отвечает. — Деньги принесли?..»

Мы опять к прокурору: «Вы ему позвонили, сказали?»

«Позвонил, сказал, — говорит. — А что еще я могу сделать? Дайте ему что просит...»

Где правда, Коля?! Что происходит?

А происходило то, что время гастарбайтеров, время рабского и дешевого труда было уже не за горами. И слава богу, что Трайкосу удалось уехать на свою историческую родину, в Македонию. Надеюсь, что там у него все сложилось хорошо.

Что он вписался со своими вопросами о правде в балканский уклад своих предков, основанный на подлинной справедливости...

За работой Леня Павлидис распевал греческие песни. Это у него получалось очень неплохо. Причем то, что одновременно замешивал раствор, бросал его ковшиком на стену или растягивал малкой по стене, ничуть ему не мешало. А даже создавало свой особый ритм в работе и повышало настроение у других.

Не так давно в кинотеатрах прошел голливудский фильм «Грек Зорба», откуда и пошел гулять по свету танец «Сиртаки» композитора Микиса Теодоракиса. А следом мы посмотрели греческий фильм с таким же названием.

Герой фильма «Сиртаки» тоже вначале работал на стройке. Пел, пел и стал в итоге знаменитым певцом. Заслушиваясь голосом Лени, я ему пророчил: «Повторишь судьбу того парня из фильма». Они и внешне были похожи. У Лени тоже — могучий торс, а значит, и грудная клетка настоящего певца. Его я пытался просвещать и приводил в родительский дом на Луначарском шоссе слушать пластинки великих итальянцев и Шаляпина. Однако особенности греческого пения таковы, что не требуют подготовки и вокальных данных в классическом понимании. Хотя, может быть, это мое заблуждение...

Любители греческого пения и игры на бузуки занимались в клубе греческого городка, который был на правой стороне улицы Дагестанской, и постепенно превратились из любителей в профессионалов, в ансамбль «Бузуки» с красивыми и звучными инструментами.

*...И снасти тугие, как струны бузуки,
Негромко звенели, вобрав
И древнего танца тревожные звуки,
И запах неслыханных трав...*

— Как же «бузука» может звенеть струнами, если это американская пушка? — недоумевал впоследствии один из моих рецензентов по поводу вышеприведенных строк.

«Ти-линь, ти-ли-ли-ли-линь...» — бузуки переливчато тилинькали, а Леня пел поразительно красивые песни. Одна из них, исполняемая дуэтом, мужским и женским двуглосием, просто преследовала меня: «Зэн магапас, яфтокис васа низис, Зэн магапас алифина...» Слова очень простые, что-то вроде: «Ты меня не любишь, не хочешь видеть...» — но исполнялось это так, что мурашки по спине пробегали.

Они выступали на летних парковых площадках, где мы иногда пересекались: сталкивались или следовали друг за другом. Мы — молодые поэты из литературного объединения при журнале «Звезда Востока», они — ансамбль «Бузуки».

Все шло своим чередом. Но было нечто, что не давало мне покоя. Какая-то жизнь, далеко от меня, проходила мимо. Там, где пахло морскими водорослями и словыми лапами, — на берегу Охотского моря...

АНСАМБЛЬ «БУЗУКИ» И МОЛОДЫЕ ПИСАТЕЛИ

Через несколько лет, в 1975-м приехал я с Сахалина в Москву на VI Всесоюзное совещание молодых писателей и увидел афишу, на которой Леня пел в окружении нарядных гречанок и в тексте значился художественным руководителем ансамбля «Бузуки».

Мы уже два дня как колобродили с Юрием Аксаментовым, хорошим сибирским поэтом. А знакомы были еще по Иркутскому совещанию молодых писателей Сибири и Дальнего Востока, где он прозвучал как одно из открытий семинара на-

ряду с Анатолием Кобенковым, Анатолием Горбуновым, Вячеславом Сукачевым и другими. Здесь мы попали на один семинар и тесно общались.

В руководителях у нас были поэты Роберт Рождественский, Олег Дмитриев, Андрей Дементьев и критик Дмитрий Стариков. Роберт Иванович понравился своей естественной манерой речи, несмотря на заикание. Олега Дмитриева мы знали как хорошего поэта урбанистического направления — так, во всяком случае, его творчество определяли литературоведы.

Критик Стариков подкупал мягкой интеллигентностью и в то же время озадачивал неожиданным поворотом мысли. К примеру: «Как вы думаете, должна ли поэзия вращать жернова, как речная вода, льющаяся на мельничные крылья?»

— Ну з-з-ачем т-т-ебе Аввакум? Что т-т-ебе до него? — разводил руками Роберт Иванович.

«Вот те на! Сейчас указывать начнут придворные поэты, о чем писать и о чем не писать...» — мысленно ахнул я.

Суть его политико-поэтической позиции уяснил несколько позже, когда прочитал где-то стихи Рождественского со словами: «Россию чту с семнадцатого года...» и еще позже — поэму о Красной площади «Двести шагов».

Не понравился нам надменно-нарциссовый Андрей Дементьев с его локонами и коком, который он иногда поправлял как бы небрежным движением руки. От его облика и речей веяло лживостью, да и стихи его были такие же, рассчитанные на невзыскательного читателя, к тому же не очень грамотные.

Юру Аксаментова кормил и поил я, можно сказать, на последние рубли, поскольку ему задерживали гонорар, обещанный за книгу, выходящую в издательстве «Современник». Но выплатить деньги должны были через несколько дней. При таких обстоятельствах кто бы поступил иначе? Да и товарищ он был славный. А одно из его стихотворений считаю выдающимся в русской лирике.

*На все, что создано из праха
И снова обратится в прах,
Смотрю без трепета и страха,
С улыбкой легкой на губах.*

*Травинка. Лютик. Подорожник.
Пчела в бутоне полевом.
Природа щедро, как художник,
Дала им форму и объем.*

*Такие крылья — мелкой твари!
Такую сложность — лепестку!
Их век короткий лучезарен,
А жизнь подобна огоньку.*

*Оттрепетала, отгорела...
Ни ропота, ни похвальбы —
Прекрасные душа и тело
Расстались молча, без борьбы...*

*И мне б, восставшему из праха,
Не волноваться, не страдать,
А без сомнения и страха
Урочной доли ожидать...*

*Но кровь бунтует и клокочет,
К вискам подкатывает: быть!
Душа бессмертная не хочет
Непрочной плоти отпустить.*

*Им, двум врагам непримиримым,
Безумно хочется и впредь
На пролетающее мимо
Глазами общими смотреть.*

Вечером мы должны были выступать в библиотеке Московского авиационного института. Но у меня в глазах стояла афиша с «Бузуки», приглашавшая в зал театра Советской армии. И мы выбрали греков. Извинились перед Рождественским с Дмитриевым — молодых поэтов там и так хватало — и подались «на театр». Зал был полон. По национальному составу — чистый Вавилон.

Открылся занавес — и в зобу дыханье сперло. Полились греческие мелодии, песни... Нахлынули «грустной толпою воспоминанья», как поет Тонио в Прологе к «Паяцам».

Леня выглядел молодцом — во фраке, грудь колесом. Он и раньше был видным парнем. А теперь, повзрослев, стал осанистым и элегантным певцом.

Мой друг Аксаментов то и дело смахивал слезы. В антракте сказал: «Я-то думал, ты меня на какую-то какофонию завел, а тут такое...» Я не удержался, пошел за кулисы, нашел Павлидиса. Обнялись. Представил ему растроганного вконец сибиряка. Леня крикнул девушкам-певуньям, чтобы принесли нам коктейлей. От нарядов и красоты артисток Юра совсем сомлел.

— В ложе посол сидит, — сказал Леня значительно, и стало понятно, что это важно для них.

— А мой любимый дуэт «Зэн магапас...» будете петь?

— Нет его в этом репертуаре. Но я переговорю сейчас с солисткой, если она не будет против — исполним...

И ведь спели! За что я навек благодарен Лене, Царствие ему Небесное!..

О гибели его узнал случайно, в Греции, в 2001 году, в кемпинге на полуострове Халкидики. Разговорился с обитателем соседней палатки, человеком средних лет. Он оказался из Ташкента. Обрисовался общий круг знакомых...

— Убили Леню Павлидиса. Какой-то дележ и разборки, видимо... Но родные не говорят, что он погиб. Говорят, умер от сердца. Что-то, наверное, признавать не хотят...

Так мне поведал этот человек.

В начале восьмидесятых годов в наших литературных кругах на Сахалине появился новый автор — Виктор Иванович Чеботников. Вылитый дядя Будулай из фильма «Цыган»: в мягких сапогах, чернокудрый, с легкой сединой, большезлазый... Говорил, что в его жилах течет как грузинская, так и греческая кровь. Говорил, что отсидел десять лет на Кольском полуострове в апатитовых рудниках Хибинских гор «за политику».

Познакомились мы на каких-то посиделках, когда еще незнакомый этот человек вдруг сгреб меня в охапку и закричал: «Вот ты где! А я тебя по всему Сахалину ищу — в Горнозаводске, в Невельске...»

Выяснилось, что у него для меня подписанный на память фотопортрет Лени Павлидиса, который он просил Виктора Ивановича мне обязательно передать. Они познакомились на гастрольном концерте ансамбля «Бузуки». Чеботников рассказал о планах уехать на Сахалин, и Леня передал ему для меня это фото.

Последний раз совершенно неожиданно случился у нас телефонный разговор в 1996 году, когда Леня работал в обществе греческих политэмигрантов и помогал из Ташкента Анастасии в поиске нужных справок для отъезда в Грецию.

— Как «Бузуки»? — спросил я его.

— А никак. Поуждали на родину и слушатели, и музыканты, и певцы...

— А ты почему не уезжаешь?

— И что там делать? Чем зарабатывать на жизнь?

— Ну, пел бы... Создал бы снова группу или ансамбль...

— Там такие певцы и музыканты, что мы им не конкуренты. Да и сын здесь учится в институте под моим присмотром...

Конечно же, для него настоящей, а не мифической родиной был Ташкент, в котором он родился и прожил свою короткую жизнь. Заглянув недавно на сайт «Письма о Ташкенте», я прочитал: «Греческий ансамбль «БУЗУКИ» гастролировал по всей Республике и представлял на фестивалях молодежи и студентов греков из Узбекистана. Наши певцы Я. Целипидис, работавший последние годы в Афинском оперном театре, и Л. Павлидис стали заслуженными артистами Узбекистана...»

СКВЕР, «ПЯТАК», БОГЕМА

Страсть к писанию стихов по-прежнему не оставляла меня. Отпечатанные на машинке подборки отвозил в журнал «Звезда Востока», где их иногда публиковали. По просьбам некоторых узбекских поэтов делал я и переводы их стихотворений для журнала. После марта 1967 года в редакции были совсем другие люди.

Новым главным редактором стал сначала Владимиров, а позже Раим Фархад, тот самый поэт, которого я помнил по совместному выступлению на телевидении еще до армии. Он приехал в Ташкент из Самарканда после окончания медицинского института. Молодой, много пишущий и публикующийся, — мне он нравился своим «моцартианством», этакой легкостью и даже творческой небрежностью.

В богемной нашей публике, состоящей в основном из членов литературного объединения при журнале «Звезда Востока», его не жаловали, как не жаловали бы, я думаю, любого — молодого и успешного, стильно одетого, сейчас бы сказали — гламурного, — выскочку. Злые языки талдычили: «Бухарский еврей... Женился ради карьеры на дочке Бородина... Подставил свою бабу Евтушенке, когда тот в Ташкент приезжал... А сам гомосек...» и тому подобное.

Его тесть Сергей Бородин считался классиком узбекской русскоязычной литературы. Я зачитывался в свое время его историческим романом «Звезды над Самаркандом». Безусловно, он был влиятельной фигурой в Союзе писателей Узбекистана.

И вообще, считалось, что Союз писателей находится под особым покровительством самого «шаха» — Шарафа Рашидова — первого секретаря компартии Узбекистана, автора эпопеи «Могучая волна» и члена писательского Союза. Всякие ходили легенды на этот счет. В одной из них утверждалось, что схваченного и отвезенного в вытрезвитель поэта Сашу Файнберга тут же выпустили по личному звонку руководителя республики.

Главным местом литературной тусовки в то время был «Пятак», или «Пятачок», — кафе-веранда на Сквере. По злобности тамошняя богема на моей памяти осталась непревзойденной. Сидели обычно за сдвинутыми столами, пили вино, обсуждали новости и отсутствующих, читали стихи...

Стоило кому-то отойти по надобности на несколько минут от компании, и все дружно начинали обличать его как графомана, бездаря, стукача и редкую сволочь... То же самое происходило со следующим отлучившимся, но уже при участии вернувшегося первого. А третий со слезами на глазах признавался: «Терпеть буду, но с места не сдвинусь, и не мечтайте...»

— Что ты с ними водишься? — сказал как-то Фархади. — Ты же видишь, кто это: бездари и шизофреники...

Его «медицинский» диагноз был в основном верен. Но в нем-то и заключалась притягательная прелесть, и заменить наше общение было нечем, да и ни к чему, потому что вращение среди свободных разговоров и полубредовых завихрений оставалось прекрасной питательной средой для творчества.

— Они-то думают, что мной командуют, мне нотации читают... А на самом деле — я автор, я! Это я их расставил, а сам смотрю со стороны и хохочу над ними... — делился творческим опытом прозаик Юрий Климов. — У них одни БельмОнты да МандельштамПы в голове. А я вот в Индию собираюсь. Хочу роман писать про индийскую жизнь...

*Я откликнулся эпиграммой:
Себя слегка пугаюсь я по пьянке,
Поскольку от крепленого вина
Могу жениться я на индианке
И даже выдрессировать слона.
Я все могу. И мне в подобном деле
БельмОнты ваши вовсе не чета...
Прощай, Пятак! Я завтра еду в Дели,
Чтобы сплясать там танец живота.*

Другой поэт, Роберт Ураганов, низенький кудрявый армянин, настоящая фамилия которого состояла из одних согласных, типа «Мкртчян», — подмигивая, говорил: «Ночью меня опять БиБиСи передавало...» — «А днем они, что ли, не могут?» — искренне удивлялся я. «Ну что ты! Днем КГБ не спит». Такие занятные разговоры возникали у нас после заседаний литературного объединения, когда мы перемещались на «Пятачок».

Богема наша разделялась на две группы: пьющие водку и пьющие вино. Были и те, кто не определил, к какой группе примкнуть, вроде меня, мешавшие все подряд за компанию. Я в ту пору сочинял шаржи и эпиграммы по разным поводам, в том числе и по этому.

*И даже форвард юмористов,
Неотразимый Лев Белов,
Причастен к лику «портвейнистов»,
Хоть выше их на пять голов...*

Писатель-юморист Лев Белов действительно был ростом с Тарапуньку и пил только вино. Остроумнейший и совершенно незлой человек. Однажды он стоял и слушал, пригорюнившись, как и все вокруг, в фойе Союза писателей радиосообщение о только что случившейся гибели космонавтов Добровольского, Волкова и Пацаева...

— Слушай, слушай, — прошипел у него над ухом подкравшийся поэт Владимир Лещенко. — Что-нибудь потом юмористическое напишешь...

Никто из них в ту пору не был членом Союза писателей. Вся богема отиралась в его прихожей, облизывалась и злословила друг о друге. Но были и

талантливые, самостоятельные ребята. Такие, как Костя Аксенов, Николай Красильников...

Не успел пройти ложный слух, что Ураганова приняли в Союз писателей, как тут же стихами откликнулся Лещенко:

*Слыхали? Явился в Союзе
Поэт превеликих заслуг,
От Сквера доползший на пузе,
Как принято это у сук...
А в Сквере, в юдоли сей мирной,
Он слыл бунтарем много лет —
Художник настенно-сортирный
Отныне — союзный поэт.
О славный фортунистый случай!
И зря утверждают враги,
Что «гений» со Сквера по-сучьи
Кому-то лизнул сапоги.
Хоть, в общем, к начальству — елейно,
Как исстари — все на Руси,
Любитель чужого портвейна,
Любимец всяя Би-Би-Си.
И, в общем, по-прежнему пылок
Сей, в общем, задр...ченный хлюст.
И, в общем, для сдачи бутылок
Его применяет Союз...*

И так далее, в том же духе.

Мои пародии и эпиграммы были не такими злыми. Вот, к примеру, завалившаяся в моем архиве пародия на «тоскующего» лирика Юрия Батанова:

*Хочу воспеть рассветы вешние
И чувств высоких чистоту,
Хочу воспеть дела сердешные —
Но здесь мне петь невозможно.
Стихи писать — не щелкать финики.
В стихах без тонкости нельзя...
Ох, мне уж эти матерщинники,
Мои паскудные друзья!*

Или «Размышление над пяткой В. Лещенко»:

*...Морщины глупые и трещины
На сфере пятки пролегли...
Что снится ей: конечность женщины?
Или большой пожар Земли?
Она давно уже неженственна —
Тяжка военная стезя!
Я вижу, как по ней торжественно
Стекает светлая слеза.
Она похмельна, неприкаянна.
Но ей нельзя уйти с поста...*

*И предаёт она хозяина,
Как Ахиллесова пята.*

Сам Владимир Лещенко был антисемитом и расистом. Местных жителей иначе как «зверье» не величал. Себя выдавал за бывшего пилота, бомбившего восставших венгров в 1956 году. Человеконенавистничество его было просто патологическим. Однажды он заплакал пьяными слезами и с зубовным скрежетом открылся:

— У меня ведь бабку звали Розой...

Для его повернутых мозгов это было действительно трагедией, и я ему «почувствовал»:

— Да ты, братец, просто злобный выкрест, а никакой не ариец, как про себя рассказываешь...

Как-то, недогуляв и недопив в городе, заехали мы к нам на Луначарское шоссе полакомиться «Плиской» из папиного шкафчика. Папа пришел, когда мы уже уходили, и краем уха услышал его бредни, величание узбеков «зверьями» и тому подобное.

— Зачем ты с ним водишься? Это же фашист! Я с ними на фронте воевал...

И я не нашел ничего лучшего, как ответить:

— Какой там фашист... Заблудший просто. У него бабушку Розой звали...

Пройдет много лет, я встречу его на одном из съездов Союза писателей России.

— У меня приглашение от друзей, — сказал он и попросил: — Угости хотя бы пивком...

Мы зашли в буфет, я взял ему вина и закуски. Для себя давно завел традицию: не пить в таких командировках. Чтобы не смазывать впечатлений и хоть что-то запомнить из происходящего.

А на другой день увидел Леща на трибуне в очереди выступающих. Представлен он был как гость из солнечного и дружественного Союза писателей Узбекистана.

— Дорогие друзья, писатели России! От имени русских писателей Узбекистана докладываю вам: почти всех жидов мы у себя перебили или выжили, чего и вам желаем...

— Это провокация! — вскочил в президиуме Сергей Михалков. — Кто пустил этого человека? Уберите его с трибуны немедленно! Из-за таких провокаторов нас пресса склоняет как черносотенцев. Завтра все это в газетах будет...

Леща прогнали. Гола через два я увидел его в последний раз у метро «Парк культуры». Он торговал разложенными на картонках книгами типа «Майн кампф» Гитлера, «Протоколы сионских мудрецов» и «Кто убил Сталина»... У него был вид человека сильно пьющего, ночующего где придется. Он застеснялся своего ободранного вида и сказал: «Жить-то надо...»

И ведь небездарный от природы поэт был. Просто судьба его стала еще одним примером того, как злоба и водка пожирают любое дарование. Возможно, отчасти причиной этого был «венгерский» синдром — предшественник «афганского» и «чеченского». Лучшее из него, что запомнилось, — стихи, которые начинаются так:

*Когда пилоты пьют коньяк
Гранеными стаканами,
Что означает: жизнь — пустяк,
Не спорьте с ними, с пьяными.
Не всем судьбу пытать во мгле
На крыльях, круто скошенных, —
Вам хорошо и на земле,
Сограждане хорошие.*

*Вы молча пейте и — в постель,
Разумные, хорошие...
Вам не привидятся сквозь хмель
Обломки крыльев скошенных...*

Некоторые литераторы из неработающей богемы жили при авторах-графомахах. Это те, кому особенно «свезло». Были такие авторы, писавшие километры словесной чуши, очень желавшие напечататься где угодно и не стоящие при этом за ценой. Они нанимали кого-нибудь из «наших» шизофреников в качестве литературных обработчиков, поселяли на даче, кормили-поили и обещали заплатить за любую публикацию своих стихов или прозы.

— Он мне говорит: «Я тебя полгода кормлю-пою, а ты всего два моих стиха напечатал», — делился Роберт Ураганов. — Я ему отвечаю: «А в газете «Ангренский горняк» еще стихотворение? Забыл, что ли?! Если я от тебя уйду, тебя вообще больше никто и нигде не напечатает...» Забегал сразу, заюлил... Вина достал. «Живи, — говорит, — работай. Просто хочется большей отдачи... Годов-то мне уже много...»

БЛИЖНИЙ КРУГ

В ближнем кругу у меня в приятелях были: Коля Волков — высокий размашистый юноша с претензией на нечто театральное-трибунное, Женя Пташкин, которого Лещ передразнивал «Птушкиным», — актер Театра юного зрителя, и Изя Вильскер — добрейший «мазопацифист», пузанчик, в котором все было кругло: лицо, лысина с венчиком черных «сатировых» кудрей. И лет ему было уже «кругловато» — под сорок.

Ко всему этому он удивил однажды невероятной волосатостью, когда готовился залезть под душ по случаю небывалой жары в квартире, где жил. Своего жилья он не имел, поэтому снимал комнату. Работал чертежником в каком-то «НИИ...проекте» в районе нового цирка на улице Навои. Но по-настоящему, душевно, жил стихами.

— Ты совсем не умеешь читать свои стихи, — говорил мне Коля Волков. — Если бы у меня были такие стихи... Слушай, как надо...

Его роскошная баритональная декламация пробирала до дрожи. Он все, что угодно, мог прочитать с большим успехом у публики. А публика собиралась в основном по парковым летним театрам. В парке Горького напротив Сквера, в парке Тельмана, недалеко от зоопарка, еще где-то... Совсем как в стихотворении замечательного сибиряка Анатолия Кобенкова, которое услышал я от него лет через пять в Иркутске: «Нас спрашивали: как вы начинали?...»

*Два пионера, три пенсионера
Нам хлопали в ладоши от души...*

Женя Пташкин покорила меня хорошей актерской пластикой и проникновенным чтением главы «Стенька Разин» из поэмы Евгения Евтушенко «Братская ГЭС». Мы с ним частенько бродили по городу, пили вино, читали стихи. Сидя в очереди у какой-то пивной бочки, сочиняли пародии на сахалинских поэтов — Лебкова, Санги, Белоусова...

— Жуковский говорил, что Наталья кричала: «Простите!», когда Пушкин умирал... — где-то вычитал Изя Вильскер. Из этой его фразы написались у меня

стихи, которые напечатал журнал «Звезда Востока». Меня часто потом просили читать их на выступлениях, но в книгу включить я их так и не решился.

*Он умирал, не ведая обиды...
Зиял в глазах немыслимый провал...
Ах, Александр Сергеич, вы убиты
По правилам, по чести, наповал...*

Что-то одобрительное сказал о моем стихотворении «Последняя ночь Франсуа Вийона» Александр Файнберг, иногда заходивший на заседания литературного объединения при журнале «Звезда Востока». К нему я относился с особым почтением. И не только потому, что он был крупным поэтом, а и потому еще, что помнил тот — из первых — пример честного и ответственного отношения к своему делу, когда человеком движет не стремление мелькнуть лишний раз на телеэкране, а нечто другое...

С Женей Пташкиным мы бродили по разным знакомым, читали стихи. Как-то среди ночи забрели в частный сектор на улицу Дунайскую, где я поднял своего школьного друга Серегу Сидорова, чтобы тот прослушал «Стеньку Разина».

«И то-гда за-хо-хо-та-ла го-ло-ва...»

Серега был в восторге. Он еще не женился на девушке-удмуртке, которая родит ему впоследствии двух сыновей. Рождение второго совпадает с явлением Марадоны в футбольном мире. И Серега — заядлый болельщик — будет звать малыша не паспортным, а этим именем: «Марадона, куда пополз?», «Опять описался, Марадона...»

Серега всем давал свои имена. Мою жену он звал «Асеньш», одного из приятелей — «Арбакеш», другого — «Кер-оглы» на азербайджанский манер. Но и самому ему Алик Милируд навесил кликуху «Гым-Гым», и, как ни странно, она прижилась. Таков был наш разноглазый Ташкент. И я давным-давно, с тех еще пор, не удивляюсь самым невероятным именам и прозвищам. Даже тому, что сегодня моего десятилетнего внука зовут Николаос Антониос Атанасиу.

О «СЛАБОСТЯХ И ПРИЧУДАХ»

В Ташкенте Анастасия иногда принимала участие в моих походах к друзьям. И поначалу ей было интересно общение с «чудиками» — стихотворцами, художниками... Но уже тогда чувствовался некоторый максимализм по отношению к их слабостям и причудам.

Побывали в гостях у Николая Андреевича Лукьянова, который выводил меня «в люди» перед армией, мы даже обменялись письмами во время моей службы. В его доме — жена и мама — все жило и дышало сыном и мужем... На стене висел большой фотопортрет хозяина, тридцатитрехлетнего поэта. Судя по облику, у него были чувашские корни. Это подтвердила и мама. Очень тепло и задушевно посидели мы у них в доме на Асакинской.

И вдруг через некоторое время известие: «Умер Николай Лукьянов...» Говорили, что от инфаркта и что у него был порок сердца... На похоронах у дома собралось очень много людей. Помню душераздирающий крик его жены, теперь уже вдовы.

Действительно, в последнее время была в нем какая-то усталость. Потемнело лицо. Но главной причиной, я думаю, был не порок, а то, что от него все

время попахивало винцом. Даже на работе, в редакции «Пионера Востока», где он работал ответственным секретарем и куда я изредка к нему заходил. Но когда он звал выпить вина в кафешку на улице Навои, я почему-то отнекивался и уклонялся. Может быть, не чувствовал в нем собутыльника. Выпить по два-три стаканчика и разбежаться — это было не для меня. Он шел и выпивал один, добавляя все время...

— Ну что ж, умер еще один плохой поэт, — высокомерно обронил кто-то из «шизофреников» в Сквере на «Пятаке».

— А за такие слова можно и по морде дать. Человек умер! — отозвался добрейший Изя Вильскер, знаток французской поэзии, открывавший мне Бодлера, Верлена, Рембо... И сам писавший весьма нестандартные стихи. На них у меня была пародия, по-моему довольно успешно отражавшая авторский стиль:

*Может быть, лепо, а может, нелепо —
Вылезла крыса из старого склепа,
Глянула в мир отрешенно и слепо,
Видно, учуяла кропочку хлеба.*

(Это было через двадцать пять лет после войны, в два часа дня. Хлебная корка лежала на солнце, а вокруг нее прогуливался толстый тыловой петух, который по молодости лет своих не мог знать голодной военной поры, когда крысы и петухи делились каждой крошкой.)

*Может быть, лепо, а может, нелепо —
Крыса лежала у черного склепа,
Крыса в дыму петушиного пуха:
И на старуху бывает проруха!*

(Была весна. Два трупа цвели около одной хлебной корки. Крыса и петух. Петух и крыса. Жизнь сложна, а ее извивы причудливы и порой непонятны. Два светло-фиолетовых трупа. Была весна.)

Сам он обсуждал свои возможности в связи с предстоящей женитьбой. Девушка была младше лет на двенадцать. И, как рассказывал Изя, его «Гретхен» поставила условие, при выполнении которого она выйдет за него: сделать пять шагов с полным ведром воды, подвешенном на его мужском достоинстве. Условие, по его словам, он выполнил, но была еще проблема: девушка — из немецкой семьи, родители пребывали в шоке после знакомства с женихом и пока не знали, как вести себя при таких нестандартных обстоятельствах. Добрейший Изя улыбался и шелестел беззубым ртом: «Честно говоря, я им не завидую...»

Литературное объединение при журнале «Звезда Востока» возглавлял пожилой писатель по имени Альфред Рудольфович Бендер. Однако литературное его имя было на слуху — Эдуард Арбенев. Он был литературным работчиком, а по сути, одним из создателей военно-приключенческой прозы писателей-разведчиков Леонида Николаева, Георгия Брянцева... Говорили, что он приложил руку и к бестселлерам того времени: «По тонкому льду», «По ту сторону фронта».

Запомнилась встреча на одном из заседаний с Героем Советского Союза писателем-фронтовиком Владимиром Карповым. Его необыкновенная жизнь сама была как увлекательный роман. Арестованный перед войной курсант военного училища, чемпион округа по боксу... На фронт попал в составе штрафного батальона. Боевой разведчик, он вернулся с войны героем и офицером. Стал писателем.

На встрече с нами это был сорокапятилетний красивый и сильный человек с очень живыми глазами. Еще не было эпопеи о маршале Жукове, и никто не сумел бы предугадать, слушая его историю, что перед нами будущий председатель правления Союза писателей СССР, который сменит на этом посту в перестроечные годы «сибиряка» Георгия Мокеевича Маркова...

ТЕПЛЫЕ ВЕЧЕРА НА УЛИЦЕ ХУДОЖНИКОВ

На улицу Художников, втекавшую в Высоковольтный проспект — будущую улицу имени Лала Бахадура Шастри, я ходил в гости к художнику Саше Кедрину. Там, в двухэтажном особнячке — теперь такие строили специально для художников — он и его жена принимали меня весьма радушно, поили сухим вином или чаем. Это были теплые вечера. Просили читать стихи, и я читал:

*Не ведаю пока еще, какую
Мне будущее плоть определит,
В какой листве о прошлом затоскую,
В какой травинке сердце заболит...*

Читал: «Я жил недалеко от океана...», «Последний ночлег Франсуа Вийона», «Метаморфозы» и много еще всякого.

А Саша в ту пору продолжал осваивать керамику. На стенах висели керамические маски — плачущие, хохочущие... Особенно необычно смотрелись те, где в пол-лица — смех, в пол-лица — плач. На память он всегда дарил мне то фотографию какой-либо работы, то рисунок, сделанный этим же вечером, по ходу разговоров и чтения стихов.

Видимо, несколько позже Александр Файнберг посвятил Александру Кедрину стихи, напечатанные во втором номере журнала «Арион» за 1997 год.

Веселая баллада

А. Кедрину

*Голодный художник рисует жаркое.
И кисть, как шумовка, поет под рукою,
когда помидоры кармином он кроет
и сажеею мажет горячий казан.
В картине под соусом мясо дымится.
Он краску на мясо кладет, как горчицу.
Пылает морковь, лучок серебрится.
И это приятно голодным глазам.
А сытый художник, скорбя и горя,
белыми пишет пустые кастрюли.
И, с кремом жуя заварные роголи,
он старый сухарь на столе создает.
Рисует, стаканчик вина опрокинув,
забвения пыль на порожних графинах.
И кошка худущая смотрит с картины,
как жарится в кухне его антрекот.*

*Биограф и критик – две славных каналы, —
их творческий путь изучив досконально,
явление это объявят нормальным,
искусство и жизнь гармонично спаяв.
И явится миру их вывод несложный,
что личное в жизни художника ложно,
что съедено, то воссоздать невозможно,
поэтому каждый по-своему прав.
В апрельской грязи до колен увязая,
я эту балладу слагал на базаре.
На толпы веселыми глядя глазами,
стоял я, играя авоськой пустой.
А рядом вздымала свой кузов машина.
Биограф и критик грузили картины.
Скрипела и хлопала дверь магазина.
И пахло от луж настоящей весной.*

Тщетно искал я из двадцать первого века упоминания о художнике в Ташкенте и лишь недавно обнаружил в Интернете очерк о нем, который показался мне настолько любопытным, что привожу его полностью.

«Маятники Кедрина»

Хотел — о живописи. Об экспозиции, открытой в Челси, в престижной Amsterdam Whitney Gallery, где работы художника, явно не случайно, оценены по достоинству в денежном эквиваленте. Как тамошние «товароведы» его — престарелого, почти семьдесят, и едва говорящего по-английски — нашли? Продолжал бы завешивать своими полотнами стены тесной квинсовской квартирки, складывать их в углу...

Вот и не получается сразу о живописи. Сначала получается о человеке. Александр Кедрин — из рода Кедриных. Среди его предков — знаменитый, описанный А. Толстым в «Эмигрантах», И. Бунинным в «Дневниках» министр-кадет Евгений Иванович (прадед), поэт Дмитрий Кедрин (троюродный брат), художник и поэт Вениамин Кедрин (отец). Наш герой — также художник и поэт, но стихи пишет красками, как начинал в пятидесятые, как продолжил в девяностые.

В конце пятидесятых в Ташкенте организовали выставку молодых нонконформистов. Официально. Впрочем, так же официально и закрыли. Проишлись бульдозером, но чисто идеологическим. И сделали вид, что забыли, как семнадцатилетний Кедрин был ее участником. А кончилась «оттепель», понял Александр, что нет ему в живописи места, поскольку не будет оно и для хлопкоробов на его холстах. И занялся он керамикой. Туда переселились все его абстрактные фантазии — в столкновения образов, в причудливые глазурные узоры, в контрасты цветов. И никакого соцреалистического чистописания. Керамика — что с нее возьмешь? Декоративщина... Малые, большие, монументальные формы, экстерьеры, интерьеры, панно, барельефы... Архитекторы к Кедрину в очередь выстроились. Три его работы отправили на Всемирную выставку в Монреаль — надо же было капиталистам показать, что и советское искусство тоже может быть современным.

А потом заказы так и посыпались: станции метро, концертные залы, театры, высотные гостиницы... Строились объекты престижа «царя узбекского»

Шарафа Рашидова. И всякий раз вопрошал он у своих зодчих, могут ли они их сделать лучше, чем в Москве или хотя бы в Алма-Ате. И, как у поэта Дмитрия Кедрина, «тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем! Прикажи, государь!..»

Но если бы что-то из реализованного Кедриным в керамике было изображено на холсте, его бы от всего отлучили, а так он и членом Союза художников стал, и Союза архитекторов, и заслуженного деятеля получил, даже на Ленинскую премию выдвигался.

«Я делал керамику, но никогда — посуду, — говорит Александр. — А керамика помогла мне сохранить себя как личность. Мой любимый Франсуа Вийон писал: «Не вижу я, кто ходит под окном, но звезды в небе ясно различаю». Вот и я, надеюсь, так жил».

Жил, ваял, читал стихи, через собственные сердечные клапаны пропуская мандельштамовское «...не волк я по крови своей». А «век-волкодав» стал подыхать у забора Берлинской стены. Стал стихать идеологический вой, и Кедрин, побывав на своих персональных выставках в Берлине и Магдебурге, понял, что снова «оттепель» наступила и, может, настала пора разгрести из-под снега забвения и юность свою, и свои полотна, посмотреть на дела свои — есть ли им место под солнцем.

Александр снова занимается живописью. Те юношеские образы, с которыми он пришел в искусство, обросли философией. Но вот беда: в стране, превратившейся в бандитскую, они, конечно, никому не мешали, однако и дела до них никому не было. А как художнику без публики? И Александр иммигрирует в США.

Поздно. 1995 год. Ажиотаж на «железное занавесье» в западных салонах схлынул, оставив на поверхности обойму покупаемых художников, точно по потребности рынка, а новоявленным уже требовалась раскрутка. Но кто будет раскручивать пожилого живописца, который в этой ипостаси никому не был известен. Коллеги, а среди них Эрнст Неизвестный и Эрик Булатов, относящиеся к Александру с истинной симпатией, советовали: «Представь здесь свою керамику — она будет паровозом». Монументалист, он, даже если бы захотел, не смог бы это физически: ни оборудования, ни заказов. Но он и не хотел. «Если творческий человек возвращается по пройденному пути, он становится ремесленником», — объясняет Александр.

И туго ему пришлось... Когда давило безденежье, когда неутомимая труженица жена Маша бралась за любую работу, а потом делила заработанное на холсты, кисти, краски... на квартплату и счета за электричество. И замечательные, талантливые сыновья, подрастая, также стремились помочь отцу реализовать цель его жизни.

Добился ли Александр Кедрин успеха как живописец? Судите сами: в 1998 году у него проходит персональная выставка в Монреале; в 2003 году он — участник престижного биеннале во Флоренции; пресса благосклонно отзывается о его работах, несколько его картин приобретает Zimmerly Art Museum в Нью-Джерси. Еще несколько — покупают частные коллекционеры, но за небольшие деньги. О коммерческом успехе речь пока не идет...

Правда, вот оно — экспозиция в Amsterdam Whitney и большие доллары в каталоге. Может, они перекочуют в карман художника? Вряд ли. Но само появление там картин Кедрина — знак; не так-то это просто пробиться в галерею.

Спрашиваю у ее хозяйки Руты Такер: «Как вы его нашли?» Она отвечает: «В Интернете. Увидели и поняли, что выставить такого художника будет честью для нас».

Сайт kedrin.com Александру сделал его сын Дима. Картины на нем изображены таким образом, чтобы можно было увидеть достоинства каждой работы.

Кстати, организаторы флорентийского биеннале нашли Кедрина благодаря этому сайту и решились, что именно его работы должны представлять Америку.

Однако пора вернуться к живописи; нынешняя экспозиция состоит из восьми картин, выполненных в стиле абстракционизма. Сам художник зовет его абстрактным романтизмом, порой — метареализмом. «Строгой классификации современной живописи нет, — говорит Александр. — Она по большей части — абстрактна. Но в той, что является не имитацией творчества, а настоящим искусством, всегда наличествуют синтез мыслей и чувств художника, синтез его сознания и подсознания».

Каждый волен трактовать увиденное по-своему, но, на мой взгляд, в картинах абстракционистов всегда задана доминанта, нечто реалистичное — пункт, от которого художник предлагает отправиться в путешествие в его внутренний мир. Такой доминантой в представленных картинах выступает круг маятника — абсолют времени, абсолют геометрии в двух измерениях и всенепременное сечение шара — трехмерного абсолюта. Маятник качается. В картине «В ожидании весны» он летит вверх, стремясь вырваться из серого пространства, в котором неподвижно висит другой, красный (может, советский) маятник минувшего бытия художника. И нужно не спать художнику (картина «Очнись»), потому что в центре его маятника поставили черную точку — он стал мишенью, и сам он за ней как силуэт падающей белой птицы... И уже алая дыра на этом маятнике («Без названия»), и на полотне наплывает нечто тревожно алое. Что впереди? Очередная голгофа («Голгофа»)? Сколько раз в течение жизни мы выносим на нее свой крест, он же — маятник, который уже не покачнется перед судом сгущающихся сумерек бесконечности. Больно после всего осознавать, что ты так далек от избранного тобой абсолюта, насколько асимметричен в сравнении с ним срез твоего Кедр («Зря не печалься»), так ведь Он — божественен. Каждый волен трактовать по-своему картины Александра Кедрина. Однако признаем доминанту маятника Художника. Он качался и продолжает качаться в его судьбе...

«ПО ПРАВИЛАМ, ПО ЧЕСТИ, НАПОВАЛ»

Между тем стихотворений у меня уже набиралось на книгу, и в один прекрасный день я поехал с рукописью, набранной собственноручно на машинке, в издательство. Принял меня классик узбекской русскоязычной поэзии Андрей Иванов — литературный консультант то ли Союза писателей, то ли республиканского издательства. Возможно, издательство называлось «Еш гвардия» («Молодая гвардия»). В огромном здании на проспекте имени Алишера Навои их размещалось несколько.

Бритоголовый поэт, а было ему тогда уже лет под семьдесят, произвел на меня хорошее впечатление тем, что говорил со мной на равных, и вообще своей учтивостью. Он принял рукопись и назначил сразу встречу через несколько дней.

Стихов его я не читал. Книга «Избранное» в толстом зеленом переплете попала мне в руки гораздо позже. А слухи о нем ходили самые противоречивые. Кто-то говорил, что Иванов заласкан властями, вон — на личной «Волге» катается. Обладание «Волгой» считалось верхом писательского благополучия. Кто-то, наоборот, считал, что он поэт недооцененный...

При следующей встрече Иванов сказал примерно следующее: «Когда я прочитал первое стихотворение «Идолы», то подумал: вот наконец новый автор с

серьезной книгой, открытие, можно сказать... Но по ходу дальнейшего чтения был все-таки разочарован. Есть отдельные строки, строфы, находки и даже целые стихотворения. Но книга не сложилась. Так что работайте над рукописью дальше. Надеюсь, в будущем книга сложится».

Ничуть не обескураженный таким поворотом дела, я ушел от него. Разговор был доброжелательным и наверняка справедливым. Да я уж и тогда понимал, что в первую очередь тематически им не подхожу. Поэтому столь высокая оценка «Идоллов», стихотворения, о котором позже, в конце семидесятых, один из издателей сказал: «Запрячь его от греха подальше и никому не показывай...» — оказалась неожиданной и порадовала меня.

*Потемнели идолы степные
В сонном бездорожье ковыля.
Загляделись в дали травяные,
Толстыми губами шевеля.*

*Солнцелики были — да забыли...
И, своим бессмертьем тяготясь,
Выцветают идолы от пыли
И с людьми утрачивают связь.*

*В Диком поле ветра свист арканный
Захлестнул языческую твердь.
Шевелят губами истуканы,
На себя накликивая смерть.*

*Смутнолики стали и бессильны,
Как бессильны прошлые вожди.
Их уже ветра перебесили,
А улыбки вымыли дожди...*

*Так стоят, своей не зная доли.
И несут обиду сквозь года
На того, кто их поставил в поле,
Не сказав, что это — навсегда.*

Никаких «подтекстов» я не закладывал в эти стихи. И если кто-то увидел в них проекцию на современность, «политику», то это была просто особенность взгляда того, кто читал их.

Несколько позже, говоря о стихотворении, посвященном брату Андрею, кто-то из рецензентов насмешничал: «Это же какой язык надо иметь, чтобы слизывать со скул слезы?»

*Я мог бы кочевником широколицым
Стелиться над травами, тело креня.
Я мог бы клокочущей крови напиться
Из белого горла чужого коня.
Чужие полки опрокидывать гиком,
А ночью, очей запрокинув тоску,
Растягивать песню о родине дикой
И слизывать слезы с обветренных скул...*

Но сбить меня с толку было уже сложно, поскольку я и чувствовал, и знал, что поэтический образ создан не слова сами по себе, какими бы верными они ни были, а те «электрические» связи и поля, которые возникают между словами благодаря соприкосновению, трению, столкновению друг с другом...

Словом, я оставался при своем и ничего не менял. Сегодня сказал бы: «У рецензента налицо недостаток метафорического мышления». Как у того, немного говорящего по-русски китайца, которого встретил на вулканчике в окрестностях селения Удалянчи.

— Какой вид! — сказал я ему. — Кажется, что пол-Китая простирается перед нами до горизонта...

— Какой пол-Китая?! — возмутился он. — Кусочка всего!

А уж на слове «обопрясь» в тех же «кочевниках», как говорится, только ленивый не отдыхал. Нету-де такого слова. Но я молча оставлял все, как было. Может быть, потому, что в нем проступало загадочное слово «пря» — битва по-старославянски.

«И не слушай ты никого, — уже на Сахалине поддерживал меня Евгений Дмитриевич Лебков. — Что они понимают в литературе...»

Я мог бы...

Но что мне до этой погони?

У Дикого поля, на меч обопрясь,

Дружинником русым я встал в обороне.

— Не выдадим, что ли?

— Не выдадим, князь!

В стихотворении о Пушкине, в строчках:

Ах, Александр Сергееч, вы убиты

По правилам, по чести, наповал... —

кто-то усомнился в правомерности слова «наповал». Дескать, «смертельно ранен» — это не «наповал». Но Павел Георгиади, в непогрешимости вкуса которого я убеждался не раз, сказал: «Наповал — это уже не физическое, а духовное значение утраты для России...»

У самого Георгиади складывались довольно сложные времена. Он был немного старше Энея Давшана — к тридцати семи... Роковая для творческого человека дата. Он не распространялся особо о своем творчестве. Я узнавал о нем, когда на глаза попадалось в титрах, к примеру, детского фильма или мультфильма: «Автор сценария П. Георгиади».

Он был умен и — вертится на языке странное слово — импозантен. Благородство облика и манер обеспечивало ему успех у женщин. Как-то пригласил он меня к себе домой на день рождения жены. Ехать пришлось далеко — на Чиланзар, в ташкентские Черемушки.

Жена его, статная красавица, была чем-то расстроена, и скоро мне стало понятно, что в отношениях у них какой-то надлом. Разлад произошел и в его отношениях с ближайшим другом Энеем Давшаном, который, не распространяясь о сути, сказал мне: «Это принципиальные разногласия...»

Если можно сравнить жизнь с кино, то герой Давшана был добросердечнее, открытее. Порядочность человека была для него едва ли не главным качеством в человеческих отношениях. Герой Павла был надменнее, резче в суждениях и оценках людей. Но им обоим я доверял безоговорочно.

«ПО СВОЕМУ ХОТЕНИЮ»

Нашей дочке шел третий год, она считалась любимицей обоих дедов — Антонина и Танаса. Папин друг, бывший военный прокурор Марк Владимирович Коробейник, был классным фотографом-любителем. Но фотографии лишь отчасти передавали озорство и живость ее характера.

Как-то гуляли мы с папой во дворике военного госпиталя, где он находился на очередном кардиологическом обследовании. Дочка копошилась у клумбы, когда на аллею вышел сам генерал армии Федюнинский, герой Отечественной войны, освободитель блокадного Ленинграда, а в тот момент — командующий Туркестанским военным округом.

Он подхватил малышку и, высоко подняв на руках, спросил: «Ты кто такая?» — Я гуляю, — пропищала она из-под облаков, ничуть не ступавшись.

Генерал прошелся с нею вокруг клумбы, потом сорвал цветок и приладил его ей под бант.

— Ну, гуляй, — и пошел дальше по своим генеральским или госпитальным делам.

Мы со стороны наблюдали эту идиллическую картинку: «генерал-освободитель с освобожденной девочкой на руках...»

Однажды на заседании литературного объединения появился гость из Ленинграда, молодой поэт Сергей Макаров. Он сразу понравился своей открытостью и талантом. Его стихотворение про Ивана-дурака одобрили все присутствующие на заседании. Да и читал он, как-то по-сказочному окая.

Лирика его была словно наполнена озоном живой природы. Тем, чего не хватало в урбанистической ауре литературного Ташкента и по чему тосковала душа. Мы сдружились, и на дни недолгого пребывания в городе я пристроил его под мамину опеку на Луначарском шоссе. Ночевал он на моем, теперь уже гостевом, ложе — на сундуке, в комнате, называемой библиотекой.

Прошлись мы с ним по моим друзьям и по родне в греческом городке — побывали у дяди Георгия и тети Евдокии — сестры покойной матери моей жены Анастасии. Общение с греками Сергея заинтересовало, ведь он еще и переводил чуть ли не с половины языков народов СССР.

На дворе стояло лето 1970 года. Пришло приглашение телеграммой: «Срочно вышлите документы...». Весной я засылал стихи на творческий конкурс в Литературный институт. Но примерно в те же дни пришел и вызов — тогда он требовался для въезда в островную область как в пограничную зону — с Сахалина от Юры Леонтьева, который работал в Невельской районной газете вместе с Асей Куприяновой — она перевелась к тому времени в Литинституте на заочное отделение.

А еще раньше Миша Финнов — с ним мы были в переписке — звал на остров и укорял меня, что уехал я так внезапно, ничего не сказав и не захав в Южно-Сахалинск.

— Мы тут рассмотрели твою рукопись, рекомендовали издавать, а автор-то — тю-тю... Смылся...

Он работал уже редактором Сахалинского отделения Дальиздата. А письма начинал по укоренившейся привычке, как когда-то на гауптвахту в поселке Сокол, словами: *Saludo, arestantos!*

Саркастически и ревниво оценив нашу с майором поездку к поэту Мандрику, помимо прочего сообщал: «Твоего друга Мандрика приняли в прошлом году в Союз писателей по состоянию здоровья и личной просьбе первого секретаря обкома КПСС».

Я в письме удивлялся, что Миша не знает, как отправляют демобилизованных солдат: отвзят прямо к самолету, с готовым билетом. Он рвался сделать мне вы-

зов. Но когда я написал, что созрел и хочу приехать жить на Сахалин, получил печальный ответ: он уже не редактор, а безработный, слопали его ретрограды во главе с директором Максимовым...

— Лебков хотел к себе в лесхоз тебя пристроить. Переговорю с ним, как только он вернется из командировки...

И вот передо мной вызов старого друга Юрика, Кузьмича из города Невельска, и приглашение из Литинститута. Серега Макаров, русокудрый добрый молодец из Ленинграда, высказался резко:

— Литинститут — ни в коем случае. Только на Сахалин. В Литинституте оставишь печень и почки. Я там учился, знаю...

Я и сам склонялся к Сахалину. Тянула меня островная земля, море, сопки, пихтовый настой воздуха — все это привлекало своей свежестью и дикостью. Словом, я начал собираться.

Папу мой отъезд расстраивал, я старался смягчить по возможности предстоящее расставанье. Дескать, будем приезжать в гости почаще, да и ты, может, соберешься ко мне...

— Если и приеду, — ответил вдруг папа, — то ты меня не угощай, пожалуйста, сахалинскими помидорами. Потому что местное корейское население поливает их исключительно собственными экскрементами...

Мысленно я извинял несвойственную ему резкость, понимая, как ему грустно. Он побывал когда-то на Сахалине, в поселке Смирных. От давней командировки осталось воспоминание о том, как их самолет при посадке влетел в сугроб и они сидели, не совсем понимая, что произошло, в кромешной тьме, пока их откапывали.

Зато мама была, как всегда, на моей стороне.

— Как я тебе завидую! Выбраться наконец из этой проклятой жары к лесу, к морю — просто счастье...

Сама она жару не выносила, говоря, что у нее на жару аллергия, и в начале лета уезжала бродить с рюкзаком по среднерусской полосе, по градам и весям, где жила ее дальняя и близкая родня — сестры, племянницы и племянники...

Папа жару переносил хорошо и никогда летом не уезжал из Ташкента. Только пил ледяную воду из холодильника «ЗИЛ», фыркая, словно морж.

Близкие нам греки ужасались от известия о предстоящем отъезде на Сахалин:

— Мало того, что сам едешь, еще и жену с маленькой дочкой туда увозишь... Это же Япония! Самый край карты!

И только Ташос по-прежнему заговорщицки подмигивал мне: дескать, мы-то с тобой знаем, в чем тут дело и какая у нас причина для твоего отъезда...

Сборы сводились в основном к оформлению документов на выезд, к получению справки из института, откреплению от райкома КПСС и тому подобному.

И вот наступил октябрьский денек, когда я в легком пальтишке и с легким чемоданчиком в руке, оставив родительский дом и семейный очаг, по своему хотению и известно по чьему велению, пошел на посадку в знакомый уже Ту-104, чтобы «на самом краю карты» строить свою жизнь с нуля. Ибо ни профессии, ни образования еще у меня не было. А было ощущение простора моей Родины и уверенность в том, что все мне по плечу и ничего не страшно.

ЛЕБКОВ И МАКСИМОВ

Другая часть моей жизни связывалась с Южно-Сахалинском, где писательская организация располагалась в трех квартирах на первом этаже пятиэтажки по

Комсомольской улице, а издательство занимало такую же позицию, но в первой из пятиэтажек, называемых в народе «Тремя братьями», по проспекту Победы.

Возглавлял Сахалинское издательство, теперь оно было отделением Дальиздата, — писатель Николай Иванович Максимов — крупного телосложения, с бильярдной лысиной и крепким лбом. Что лоб у него крепкий, я узнал гораздо позже, когда мы с ним сблизились и, можно сказать, подружились. Он хвалился, что на спор пробивает лбом голландскую печку. Разговор носил застольный характер, но, глядя на него, в это верилось...

— Покрепче меня в Хабаровске только Всеволод Никанорович Иванов был. Могучий старик. Фигура! Вернуться-то ему из Харбина разрешение дали только в конце войны. Беседовать с ним — одно удовольствие. Глуховат. Поэтому слушал собеседника не больше минуты, после чего говорил веско, берясь за палку: «Ну, ступай...»

В декабре 1971 года попал я на юбилейный вечер Максимова. После поздравлений он заявил, что ему не шестьдесят лет, а «три раза по двадцать». Что он полон сил и пусть авторы подметных писем не надеются — пощады не будет!

— Что за подметные письма и что за авторы? — спросил я Финнова.

— Это «старик» адресовано, Лебкову... — разъяснил Миша.

Через несколько дней мы с Анастасией заехали в Долинск к Лебкову. Он объяснил свое отсутствие на писательском семинаре сердечным недомоганием и выглядел, действительно, плохо. В том году ему вкатили строгий выговор по партийной линии на бюро обкома. Леонов, к которому обращался с письмами Лебков, его не поддержал. И это стало началом долгой опалы «старика», в результате которой он уехал на остров Кунашир, где написал много чудесных стихов, нашел себе новую жену Галину — подругу до конца своей жизни.

Не пишете?

Ну ладно, дело ваше:

Обиду не для вас поберегу,

На тихоокеанском берегу

Я становлюсь и опытней, и старше,

Возможно, и счастливей стать смогу.

А вообще Евгений Дмитриевич Лебков в моей жизни — особая статья. Его страсть к писанию писем: не только дружеских, но и правдолюбческих в разные инстанции изрядно навредила ему. Но его эпистолы, адресованные мне, в начале семидесятых были настоящей отдушиной, глотком воздуха. Ведь ощущение, что о тебе помнят, ценят твои писания и верят в тебя — для двадцатитрехлетнего автора неоценимо.

«Коля, привет!

Оч. хорошие у тебя стихи. Молодец. Сейчас отбираем из них для альманаха «Сахалин-71». Не забудь послать рукопись в изд-во и 1 экз. в писательскую организацию для обсуждения. Надо срочно делать твою книжку. Насчет переезда в Долинск — повремени. Так надо для дела. Где-то через годик — сюда. Твой Е. Лебков. 16 марта 1971 г.»

«Дорогой Коля!

Если есть у тебя лишний экз. «Ох и грозен царь Московский» — пришли мне срочно. Послал ли ты его в изд-тво и писат. орган.? Обязательно сделай это не медля. Я буду писать о тебе для радио большую статью. Ты сам еще не осмыслил, что ты написал. Это все великолепно. Это зело поэтично. Зело зрело... Тебя надо срочно печатать. И я буду добиваться этого. И, думаю, добьюсь. Кстати, напиши

коротко о себе. Все надо сделать срочно. Ибо в мае еду я в Москву. Твой Е. Лебков. 3 апреля 1971 г.».

На обороте того же письма: «Насчет работы не обижайся. Работа есть — нет квартиры... Сначала пропаганда тебя, а потом перетащим в Южный или поближе к нему. Коля, милый, отнесись к этому серьезно и без излишней застенчивости. И сообщи свой адрес».

«Коля, привет!

Ты, должно быть, уже читал «Лит. Россию», где сообщили, что в № 11 «Дальнего Востока» твои стихи. Это — хорошо. Вот какое срочное дело: высылай мне 2 экз. твоей рукописи «Красный ветер». Срочно! Я договорился с гл. редактором «Даль-издата», чтобы тебя издали во Владивостоке. Не тяни. Телевидение меня мучит: просят о тебе. Некогда: план и т. д. Мои дела — ничего. В изд-ве «Сов. писатель» выходит моя книжка в 1972 г. Привет Тасуле. Твой Е. Лебков. 24 ноября 1971 г.».

«Коля!

Твоими стихами все очарованы. В № 4 «Сиб. огней» пойдет их 8 штук. Это — отлично... Ты сделай вот что: напиши коротко о себе в «Сиб. огни». На имя Александра Романова (зав. поэзией). Сделай это немедленно... Не молчи, пиши. Мне грустновато одному. Твой Е. Лебков. 18 октября 1971 г.».

«Коля!

В «Сиб. огни» шли коротко о себе Александру Романову (он зав. отделом поэзии). Какой ты, друже, чудак! Я же тебе говорил: срочно шли и для кассеты, и полную рукопись «Красного ветра» в издательство (наше). Все это посылай отдельно. В каждом пакете заявка: «Прошу издать» и т. д. Так надо и необходимо. Так положено. А ты тянешь. Это мне не нравится. А недруги этим (затяжкой) воспользуются. Возможно, приеду после праздников. С приветом. Е. Лебков. 30 октября 1971 г.».

Таких писем от «старика» храню я несколько десятков. В мае того же 1971 года я получил письмо от известного советского критика Феликса Овчаренко:

«Здравствуйте, Николай!

Благодаря Е. Лебкову, который прислал нам Ваши стихи, сделано, по-моему, доброе дело — заложена хорошая основа для дальнейшего развития наших отношений.

Стихи в редакции понравились. Вы владеете словом, Вам есть что сказать читателю. Радует свой взгляд на мир, несколько полемичный, но в принципе верный и похоже, что выстрадавший. А со времен Гомера это обычно ценится.

Думаю, что мы сможем во втором полугодии дать подборку Ваших стихотворений, вероятнее всего — большую.

Хотелось бы в связи с этим получить от Вас письмо, в котором бы содержались ответы на вполне традиционные, но важные для нас вопросы...

Если читаете наш журнал, поделитесь хотя бы коротко своими впечатлениями (что хорошо, а что — наоборот).

Окажетесь в Москве, непременно загляните в редакцию. Хотелось бы поговорить. С самыми добрыми пожеланиями! Главный редактор журнала «Молодая гвардия» Ф. Овчаренко».

Письмо было датировано третьим мая, а в конце октября Лебков меня спрашивал в письме: «Читал ли, что умер Феликс Овчаренко? 39 лет — и нет человека. Как жаль!»

Примерно через полгода я решил, что уже можно спросить у редакции, «как дела с моим приданым», то есть какие перспективы у той подборки моих стихотворений, которой занимался главный редактор. Оттуда ответили, что архив Феликса Овчаренко опечатан и доступ к нему будет открыт не скоро...

Евгений Дмитриевич позже даже собственную прозу использовал иной раз для пропаганды моих стихотворений.

«Молоденькая кореянка сказала нам в Стародубске, что на Рэрэ сейчас ездят другой дорогой, через лес. Старую размыл недавний тайфун.

В объезд так в объезд.

Как-то необычно легко сегодня на душе. Отчего бы это? Перебираю в памяти подробности сборов на Рэрэ. Вот оно что. Стихи. Слушал сегодня по радио чьи-то изумительные стихи:

*Рубила Русь града и веси,
Отмахиваясь от Литвы.*

Здорово. Крепко. Основательно. Кто же так пишет?» — так начинается его рассказ «Рэрэ». И в конце:

«Прослеживаю плывущие облака. Тоненькие облака. Прозрачные. К погоде. И опять приходят ко мне утренние стихи:

*Уж не страстишка, а страстица
В очах у пращура цвела,
Когда он гладил топорище,
Предвидя звонкие дела.*

А на Рэрэ тишина и покой. И сам я наполнен тишиной. И всяческая суета и томление духа ушли от меня. И не возвращались бы они.

Рэрэ! Рэрэ! Славно на Рэрэ!..»

НОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Примерно через год после переезда на Сахалин состоялось в писательской организации обсуждение моей рукописи под названием «Красный ветер». Так называлось стихотворение об эшелоне с ранеными, который расстреляли белогвардейцы.

Иван Белоусов почти все обсуждение отсутствовал, и вел процедуру его заместитель по организации Евгений Лебков.

Здесь я впервые увидел Людмилу Сапрыгину, детского прозаика, впоследствии первого директора Бюро пропаганды художественной литературы. Она была красива редкой в этих краях южнорусской красотой. По корням определяла себя кубанской казачкой. Лет ей было тогда под сорок, но выглядела она очень молодо.

Потом в компаниях частенько просила меня повторить рассказ о нашем знакомстве: «Гляжу, рядом сидит красивая такая девчонка, юная, ну — просто соплячка...» При этом заливалась Людмила Степановна счастливым смехом.

Однако руководителем она была, что называется, «строгих правил». Как-то в Холмске, завершив Дни литературы, мы должны были уезжать, а профорга пароходства, обещавшего подписать путевки, на своем месте не оказалось. Секретарша сказала, что он находится на городской конференции коммунистов. До поезда оставалось два часа, и мы с вещами отправились в Дом культуры моряков, где проходила конференция.

— Сейчас он схлопочет у меня сумкой по физиономии, — пообещала Сапрыгина и направилась к невысокому мужичку, разговаривающему с кем-то в группе таких же, строгокостюмных и темногалстучных товарищей.

Она уже было развернула его за локоть лицом к себе, но двое из группы развернули, в свою очередь, ее и, отведя в сторонку, стали выяснять, что она хотела от первого секретаря Холмского горкома партии Петра Ивановича Третьякова. Когда все выяснилось, от «самого» была дана команда срочно найти профорга парходства. Туда сгоняли машину за печатью, и все бумаги нам благополучно подписали.

— Надо же, как похож! — удивлялась Сапрыгина уже в поезде.

— Да, еще чуть-чуть, и случилось бы ужасное! — поддакивал я.

Словом, судьба хранила в тот день Петра Ивановича, будущего руководителя всей нашей островной области.

На обсуждении моей рукописи впервые увидел я поэтессу Свету Завьялову. Она пришла на литературный четверг с мамой, жеманилась, потупляла глазки и недоумевала:

— Зачем он пишет о непонятном? Вот мама моя не знает, кто такой Франсуа Вийон, зачем о нем писать? Надо писать о любви, о дружбе, о том, что понятно людям...

Миша Финнов сказал все похвальные слова, но закончил несколько странно-ваго:

— Книгу вполне можно издать, если стихотворения будут идеологически выдержанны...

Юрик потом в своем стиле упрекал и стыдил его за эту фразу:

— Струсил, Мишка? Вот уж не ожидал от тебя...

Зато Лебков безоговорочно назвал меня «большим русским поэтом» и заявил, что «Тарасову даже редактор не требуется».

Дело шло к итоговой рекомендации собрания литературного актива для издательства, что означало бы зеленый свет для издания книжки, как минимум, в поэтической кассете.

Но здесь, чуть запыхавшись, неся впереди себя черную, «номенклатурную» папочку, в комнату влетел Белоусов и с ходу взял ведение собрания в свои руки.

— Подытоживаем, — доложил ему Лебков, но был отодвинут от президиумного стола на рядовой стул.

Иван Емельянович сделал кратенький обзор международного положения, напомнил об ответственности писателя перед народом, особенно после событий в Чехословакии, и, перейдя к моим баранам, то бишь к рукописи, заключил:

— Автор — безусловно, способный молодой поэт. Однако в большинстве его стихотворений нет четко проявленной гражданской позиции, много аполитичных стихов. Лучшее из того, что есть в этой рукописи, мы будем рекомендовать для опубликования в литературно-художественном сборнике «Сахалин».

Такое заключение вызвало у моих друзей вздох разочарования. Но мне больше в ту пору был интересен сам процесс обсуждения, разговоры о стихах, мнения разных людей. А выход книги казался чем-то нереальным, недостижимым и поэтому неактуальным.

Как-то вечером в районе главной площади Южно-Сахалинска я встретил Михаила Финнова с Лерой, прогуливающимися вместе с молодым, «дартаньянистым», в смысле поджарости, незнакомцем. Нас познакомили, и это стало началом долгой дружбы и приятельства с Валерием Александровичем Савченко, новым директором Дома культуры железнодорожников.

Он много доброго сделал мне лично и для всей нашей писательской бражки. Его благородство и порядочность были опорой многим людям, которые с ним знакомы. Когда наступила суровая пора в его жизни и он заболел, ему помогли друзья, среди которых предприниматель Михаил Малышев, врач-анестезиолог Николай

Наумович Штейнер и другие... У меня в книге стихотворений «Под Северной Коронаой» есть стихи, посвященные Валерию Савченко:

*...Последний из донкихотов,
А вовсе не херувим,
Раздражающий живоглотов
Существованьем своим, —
Саныч отыщет слово
И так его повернет,
Что все, что было хреново,
Станет — наоборот...*

В кафе «Алые паруса» Финнов познакомил меня с художником Гиви Манткавой. В худеньком, невысоком, со щегольскими усиками человеке чувствовалась большая внутренняя сила. Я не удержался:

— Надо же! Судя по картинам, я предполагал, что вы — богатырь, косая сажень в плечах. Такая в них мощь...

Художник развел руками:

— Вот что легенды делают!

И еще несколько раз с удовольствием повторил фразу про «действенность легенд».

Миша потом привел меня к нему в мастерскую. С Финновым Манткава разговаривал снисходительно, как старший брат, иногда называл его Мишкой, и видно было, что у них свои, давно сложившиеся, дружеские отношения.

В Невельске Юрик и Ася познакомили меня с Борисом Петровичем Репиным — местным поэтом, учителем истории в первой школе. Это был яркий, почти пятидесятилетний человек, бывший фронтовик. Он любил рассказывать веселые истории, анекдоты, и сам первый заразительно над ними хохотал. Стихи его, напротив, были о горькой правде войны, о том, как снятся ему павшие боевые товарищи, о боях...

*И так до самого рассвета,
А на заре меня убило.
Я все боялся, чтобы это
Детей моих не разбудило...*

Мы с ним подружились и бывали с Анастасией у них дома. Жена его Тамара Васильевна работала директором городского Дома пионеров. Посетил Репин пару раз и наш барак. В начале семидесятых это был общительный, переполненный жизненными впечатлениями человек. Общение с ним стало для меня еще одним подарком судьбы. Далеко было до той поры, когда в начале девяностых под влиянием перестройки и болезни он превратится в мрачного, недоброго старика.

Стихи его печатались в районной газете «Ленинец». Я тоже кое-что отнес туда, и меня напечатали. А потом стали регулярно это делать. При том, что редактором там был Иван Тимофеевич Королев, которому приписывали крылатую фразу: «Я стихов не люблю и боюсь их». Хотя сам он впоследствии проявился как автор басен и юмористических рассказов.

Стихов, кроме Репина и моих, газета действительно почти не печатала. С военно-патриотической темой Репина было все понятно, а вот к моей лирике, как выяснилось гораздо позднее, благосклонно отнесся первый секретарь горкома КПСС Иван Васильевич Панькин.

С Репиным было легко общаться, и мы были открыты друг для друга. Одержимый творчеством, он мог сочинять стихи, эпиграммы, пародии, озорные частушки в любое время и где угодно, пристроив блокнот на коленке.

*Сдавали мы минтай соленный.
А я на все тогда забил,
Стоял с буфетчицей Аленой
И что-то про любовь травил.
Старпом сказал: «Кончай, Алеха!» —
Размазав крупный пот по лбу...
А я ему: «Мне с ней неплохо...
И, мол, видал я вас в гробу...»
Я видел, как они скисали
Под грузом бочек заливных.
Они меня потом списали,
Но не в обиде я на них.
И мы по-прежнему знакомы,
Хотя тот сейнер мне не дом...
Зато живу теперь с Аленой,
А раньше с нею жил старпом...*

В школе своей он развернул историко-археологический музей, где хранились уникальные экспонаты, натасканные в основном школьниками, с которыми он ходил в археологические походы и откапывал каменные топоры и наконечники стрел. Японская посуда, фарфор и бронза, старинные монеты и гордость музея — японский синтоистский алтарь, отделанный перламутром, серебром и бронзой.

Объективности ради, забегаю наперед, скажу, что все ценное, переехав в Южно-Сахалинск, он вывез с собой, и школьный музей перестал существовать.

В ту пору меня очень занимала история российского государства, и стихи писались, связанные с нею: «Аввакум», «Землепроходец», «Царь», «Звонарь», «Блаженный». «Чаша» — о печенежском хане Куре, который превратил череп поверженного князя Святослава в кубок и пил из него на пирах. Александр Климентьевич Мандрик, услышав это стихотворение впервые, откликнулся: «Тонкой чеканки твоя «Чаша»... А Максимов предостерег в связи с моим устным предисловием к «Чаше» на выступлениях: «Ты поосторожней там с историческими героями. А то у тебя князь Святослав ходит воевать в болгарские земли. Сам понимаешь, как это сегодня выглядит... Тут был до тебя поэт Геннадий Прашкевич, тоже про князя Святослава писал. Уехал, слава богу!»

С Сергеем Макаровым мы переписывались регулярно. Он присылал свои новые книги.

Недавно в своем архиве наткнулся на несколько писем. Одно датировано апрелем 1972-го: «Шлю тебе для знакомства рецензию на книжку. Ее мне забросил Гриша Рыскин — я сам за прессой не слежу. Гриша живет в моем доме, а раньше работал с твоим братом в Ашхабаде».

В другом письме в ноябре 1973-го: «Помнишь, я тебе передавал привет от Гриши Рыскина, друга твоего брата? У него к тебе просьба: он хочет приехать на Сахалин, поработать в твоей школе. Он может преподавать русский, литературу, немецкий. Нужен срочно ему вызов, гарантированное жилье — словом, помнишь, как мы делали тебе? Словом, Григорий сам тебе напишет далее:

«Старик, я работал с Андрюхой Тарасовым в газете «Комсомолец Туркменистана» несколько лет. Потом работал в газетах Калининграда и Ленин-

града. Сейчас здесь прозябаю в восьмилетке. Тесно и мутрно в Ленинграде. Необходимо обновление. Закончил ф-т журналистики ЛГУ, а также филфак пединститута. Пробиваю книгу стихов. Здесь безуспешно. Старик, если что есть, пиши... Бронируют ли жилье? У меня в Ленинграде квартира, сохраняют ли прописку? Жду. Григорий Рыскин. P. S. Как платят, есть ли книги, кино, медицина и т. д.?»

Вот такое письмецо. А в апреле 1974-го Макаров упомянул его еще раз: «Григорий все раздумывает...»

Видно, собирался всерьез. Но в итоге оказался не в Горнозаводске на Сахалине, а в Нью-Йорке. В аннотации к недавно вышедшей книге американского писателя российского происхождения Григория Рыскина «Новый американец» говорится: «...Читающая Россия должна все же знать, что у нее есть такой писатель с мировой пропиской и всеотзывчивой душой». В книгу вошли «Записки массажиста», а также повести «Газетчик» и «Русский еврей». О себе автор сообщает: «...В России я был учителем и журналистом. В Америке — массажистом, медбратом, диспетчером грузовых перевозок. Но я не отдал душу на закляние и остался писателем. Свидетельством тому 12 книг и сотни эссе, напечатанных в довлатовском «Новом американце», о котором сегодня пишут диссертации...»

Такая судьба. А повернись иначе, сейчас, может, проводил бы Григорий Дни литературы вместе с нами в Поронайском районе, или в Ногликах, или где-нибудь еще в сахалинской глубинке...

ПУТЕШЕСТВИЕ С АРСЕНИЕМ СЕМЕНОВЫМ

Лето 1971 года я проработал воспитателем в пионерском лагере «Звездочка». Это было место потрясающей красоты — горная долина с селеньями: Ожидаево, Чистоводное, Чапланово, Пятиречье, Николайчук. В каждом из них был свой микроклимат. Но все они — на струях чистейших рек, окруженные лесистыми сопками, — были нанизаны на стержень железной дороги Южно-Сахалинск — Холмск.

*На перроне зябнут плечи,
Экой снег!
Остывают в Пятиречье
Все пять рек.
Рыба в реках без движенья,
Ей опять
Подо льдом до потепленья
Жировать.
Скорый поезд неторопок,
Видит Бог —
Запуржило между сопок
Пять дорог...*

Это зимой, из окна поезда... А летом я снова увидел пролетающие по заводям стаи горбуши, услышал ее плеск на перекатах.

«Звездочка» располагалась в селе Чистоводном. Вожатым у меня был паренек из Холмского мореходного училища. Помимо пионерского галстука на его шее постоянно болтался огромный морской бинокль. В него мы обозревали округу и все, на что нам было интересно взглянуть поближе.

Для меня работа в пионерлагере стала школой общения, ведь приходилось находить общий язык со многими: и взрослыми, и ребятами. Запомнился хороший уровень ведения хозяйства в лагере, который по ведомству принадлежал связистам.

В тот год Анастасия после сессии задержалась в Ташкенте. Я возвращался раньше и заехал в Долинск к Лебкову. Супруга его Надежда Игнатьевна встретила гостя радушно, но затем уединилась и в наших посиделках не участвовала. Уезжая от них, опоздал на последний поезд и переночевал в бараке у славных людей: кто-то из них праздновал день рождения и меня подхватили прямо у вокзала.

Было весело, и дня два я там читал стихи и рассказывал всякие истории. Помните, что вломился родитель одной из слушательниц, — дескать, иди домой, у тебя двое детей не накормлены. На что та с придыханием отвечала: «Да ты сядь, послушай, на настоящего поэта погляди!»

Следующая сессия у нас была уже в пединституте Южно-Сахалинска, и летом 1972-го мы вдвоем с Анастасией отправились поработать две смены в пионерский лагерь своего Невельского района. Назывался он «Спутник» и располагался в Лопатинском распадке.

В июле мне позвонили из писательской организации прямо в лагерь и сказали, что я должен выехать назавтра дневным поездом в Холмск в связи с тем, что в творческое турне по линии Бюро пропаганды художественной литературы выезжает хабаровский писатель Арсений Семенов. Он пожелал, чтобы я составил ему компанию в поездке. Согласие Невельского гороно на этот счет уже получено.

Встретиться мы должны были в восемь вечера в ресторане гостиницы, где мне заказан номер. Первым узнать его должен был я — у писателя нет одной руки. Направление нашего движения — по западному побережью до города Углегорска с выступлениями во всех «градах и весях» по ходу следования.

Так я и поехал, в чем был: в белом плаще, с портфеликом в руке, даже паспорт остался дома в Горнозаводске, поскольку в лагере он мне был ни к чему. А командировочное удостоверение, выписанное на меня, получил в Южном писатель Семенов.

Анастасия проводила меня до места остановки поезда в Лопатино, и в восемь часов вечера я вошел в ресторан Холмской гостиницы, в которой устроился на ночлег. Оглядев столики, сразу увидел сухощавого средних лет человека без одной руки. При нем находилась вполне пригожая девица, и видно было, что у них дружеский ужин.

Я представился, и меня усадили рядом. Застольный разговор с Арсением Васильевичем был легким, он обнаружил тонкое чувство юмора, когда рассказывал о том, как был заведующим отделом культуры Корякского автономного округа на Камчатке.

Мы поужинали, и возникла некоторая пауза. Девушка работала в Правдинской библиотеке и собиралась отъехать домой, в свой поселок. Арсений нацелился ехать с ней, и она была не против. Но, проводив подругу, он вернулся к столику, где я, не торопясь, дожевывал отбивную...

— Коля, тебе понравилась эта девушка из библиотеки? — подняв стопку, обратился ко мне патрон.

— Да, очень, — не покривил я душой, — красивая и очень славная...

— А как ты думаешь, легко ли мне было, однорукому, ее закадрить?

— Ну, не знаю. Наверное, непросто....

— И почему же, как ты думаешь, я отправил ее одну и не поехал к ней в гости?

— Вот уж не знаю почему. Столько загадок, — не желал я напрягаться.

— А потому, друг мой Коля, что мужская дружба для меня превыше всего. И тебя, как товарища, я бросить одного не мог. Так что давай выпьем за нашу дружбу!..

Мы провидели в ресторане до самого закрытия. Так началось мое знакомство с этим удивительным человеком — Арсением Семеновым.

Целых десять дней предстояло нам, перебираясь из села в село, из поселка в поселок, из города в город, — где на автобусе, где на попутке, где пешком — добираться до конечной точки нашего путешествия — Углегорска, а если точнее — до Шахтерска с его аэропортом.

В селе Пензенском, где «селообразующим» предприятием был зверосовхоз, к нам присоединился на пару дней Борис Репин. Надо сказать, что в ту пору на Сахалине повсюду были клубы, где вечерами народ смотрел фильмы, устраивались танцы, проходили концерты, чьи-нибудь гастроли, лекции общества «Знание» или встречи с писателями.

Мы встречались с читателями в библиотеках и в клубах перед фильмами, иногда даже не успевая нормально поесть.

— Арсений! — взмолился я на пятый примерно день. — Давайте поедим чего-нибудь...

Мы проходили как раз мимо какого-то сельпо, держа направление строго на север.

— Конечно, — сказал Арсений и вышел через пять минут из магазина с булочкой, банкой сгущенного молока и двумя бутылками водки... Спиртное ушло довольно быстро, а сгущенкой мы питались через дырочку, проделанную сверху банки.

В гостинице села Пензенского ужинали втроем с открытыми окнами. По всему селу были открыты окна по случаю теплого вечера, и из них лилась музыка. Сказка продолжалась, несмотря на то что между Репиным и Арсением разгорелась дискуссия, которая приобретала уже политический характер.

— То, что ты говоришь, — кулацкая пропаганда! — горячился Борис Петрович.

— Называй, как хочешь. Но то, что истребили крепких хозяев, вырубив под корень крестьянство в ходе коллективизации, — это факт. И расплата за это еще впереди... — не уступал Арсений Васильевич.

Борис Петрович признавал, что были перегибы, но: «партия все сама поправила и осудила».

— Ничего не поправила, а наоборот, продолжает душить налогами и разорять крестьянина, выживает его из села, — стоял на своем Семенов.

Разговор шел на высоких нотах, но под хорошую закуску. Под конец ужина Репин стал собирать свои вещи, заявив, что с таким подкулачником и антисоветчиком он дальше выступать не поедет.

— Коля, меня на фронте в партию принимали, я не могу слышать эту антисоветчину... Возвращаюсь домой...

И утром уехал на день раньше, чем планировалось. А мы продолжили свой путь, выступая в клубах и библиотеках.

У Арсения Семенова была насыщенная творческая программа и спокойная манера разговора со слушателями. За плечами — несколько книг стихотворений и на выходе — исторический роман.

— Рекомендацию в Союз писателей дал мне Арсений Тарковский. Самый почитаемый мной поэт... Он и Заболоцкий — мои учителя.

Руку потерял он ребенком, в оккупации, при взрыве гранаты. На встречах об этом не рассказывал. Хватало стихов и прозы. Я в основном читал стихи, говорил немного. Особенно оценил в той поездке стихи, которые мог читать уже «на авто-

мате», совершенно отключаясь из-за усталости от аудитории. Таким неоценимым «костылем» служило мне, к примеру, стихотворение «Царь».

Иногда мы шагали на север по берегу Татарского пролива, окунаясь время от времени в теплое августовское море. Арсений подкреплялся водкой постоянно, объясняя это тем, что без подпитки — головная боль и очень высокое давление. Лицо его действительно временами становилось свекольного цвета. Впоследствии мне рассказали, что у него был врожденный дефект почки, отчего и держалось высокое давление...

Наконец однажды вечером мы въехали на автобусе в славный город Угледорск, где должно было состояться несколько завершающих наше «турне» выступлений. В гостинице был заказан для писателей люкс, но нас туда не пустили, сказав, что с нами предварительно хочет встретиться лично первый секретарь горкома партии товарищ Андреев, который, несмотря на поздний час, ждет нас в своем кабинете.

Белый мой плащ приобрел за время поездки несколько оттенков — от серого до бурого. Элегантный пиджак писателя Семенова тоже утратил свою стройность и давешний лоск.

— Предъявите ваши полномочия, — услышали мы суровый голос, едва переступив порог начальственного кабинета.

Мы предъявили командировочные удостоверения, отсутствие паспорта я объяснил тем, что был вызван в командировку не из дома. Арсений тоже почему-то оказался без паспорта, но достал из внутреннего кармана стопку ветхих бумажек, некоторые из них светились на сгибах, когда он перебирал их, приговаривая:

— Это справка с места жительства, это — о разводе, это — справка Союза писателей, — членский билет в милиции забрали...

— Присядьте. — Секретарь горкома стал звонить куда-то по телефону.

«В Южный», — понял я, когда услышал: «Да, два человека, без всяких документов, представляются писателями...»

Не слышно было, что ему отвечали с того конца провода, но после телефонного разговора он сухо сказал: «В гостинице вас поселят. Работайте дальше согласно плану...»

Денег оставалось катастрофически мало, и Арсений, пересчитав их, сказал: «Все равно не деньги. Пойдем, хоть поужинаем в ресторане».

В ресторане, недалеко от нашего столика, справляла день рождения шумная компания. По песенному репертуару понял я, что это украинцы. Захотелось порезвиться.

— Братья! Опомнитесь! — негромко начал я речь. — Есть среди вас западнянски?

— А шо це таке? — откликнулись оттуда на мою тарабарщину.

— Пора объединяться. Москали с нас вже веревки вьють!

— Та не горюйте! Геть до нас!

С Украиной меня связывало только мое новоград-волынское детсадовское детство. Но, может быть, это и впрямь не так уж мало?

И вот мы с Арсением уже в гуще доброжелательных сотрапезников распеваем с ними: «Ты ж мене пидманула, ты ж мене пидвела...»

Почти всю ночь прогуляли с ними по городу и утро встретили у них в гостях. Они оказались строителями, приехавшими с семьями и работавшими по договору в этом районе.

Утром первую творческую встречу мы проводили в узле связи. Собрались с силами, и все прошло неплохо.

Однако денег не было совсем, и мы еле наскребли на телеграмму Сапрыгиной: «Просим срочно телеграфировать авиабилеты гостиницу прокорм».

В полдень деньги пришли. Получал их Арсений по справке, заменяющей паспорт.

— Молодец ваша Людмила Степановна, — отдал должное оперативности директора Бюро пропаганды мой патрон.

Однако дальше повел себя, на мой взгляд, не совсем логично.

Достал деньги и, хмыкнув, заявил:

— Все равно не деньги. Пойдем-ка, братец, в гастроном, возьмем себе на обед подлечиться...

Но здесь я уперся:

— Только через авиакассау.

Он не стал настаивать. Билет в те годы можно было купить и по командировочному удостоверению. Строгостей еще не было. Приобретя билеты, Арсений протянул мне трешку: «Купи себе, что ли, каких-нибудь конфет с печеньем...»

В аэропорт города Шахтерска на следующий день мы опять шли по берегу моря, купаясь время от времени. Таких беззаботных дней, как в том путешествии, было на моей памяти немного...

Через несколько лет кто-то рассказал мне, как умер Арсений Семенов: отказали почки. На квартире, в съемной комнате, якобы присутствовала при кончине его хозяйка. А он вел себя, как знаменитый физиолог Павлов, диктовал слабеющим голосом: «леденеет правая нога, леденеет левая нога...»

Отправлял его из Южно-Сахалинска домой в Хабаровск Игорь Арбузов.

— Получили деньги за выступления, и сразу — за авиабилетом, Сапрыгина наказала глаз с него не спускать. Только последнюю просьбу Арсения исполнил: повел его в обувной магазин. Он, говорит, должен купить штиблеты желтой кожи. Мечта, говорит, у него такая: приехать в гости к отцу в желтых кожаных туфлях. Чтобы отец наконец увидел, что сын у него не хухры-мухры... Потом проводил его почти до трапа самолета... Да, замечательный поэт Арсений Семенов. Школа Тарковского, — подытожил Игорь.

У Анатолия Кобенкова в воспоминаниях: «Меня опекали хабаровчане: ...рано ушедший Арсений Семенов, успевший привить дальневосточной поэзии философскую веточку, украденную у позднего Заболоцкого, зажившую вполне самостоятельно и по сей день шумящую для меня на свой лад...»

(Окончание в следующем номере.)

